



А. СЕРАФИМОВИЧ

# ЧЕРНЫЙ ТРЕУХ

*Детгиз*



# Александр Серафимович Серафимович

## Черный треух

*В 1963 году исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося писателя, одного из основоположников литературы социалистического реализма Александра Серафимовича (1863–1949).*

*Серафимович — автор многочисленных рассказов и очерков, замечательного романа «Железный поток». Все его творчество — народное, яркое, полнокровное и глубоко реалистическое — вошло в сокровищницу советской литературы.*

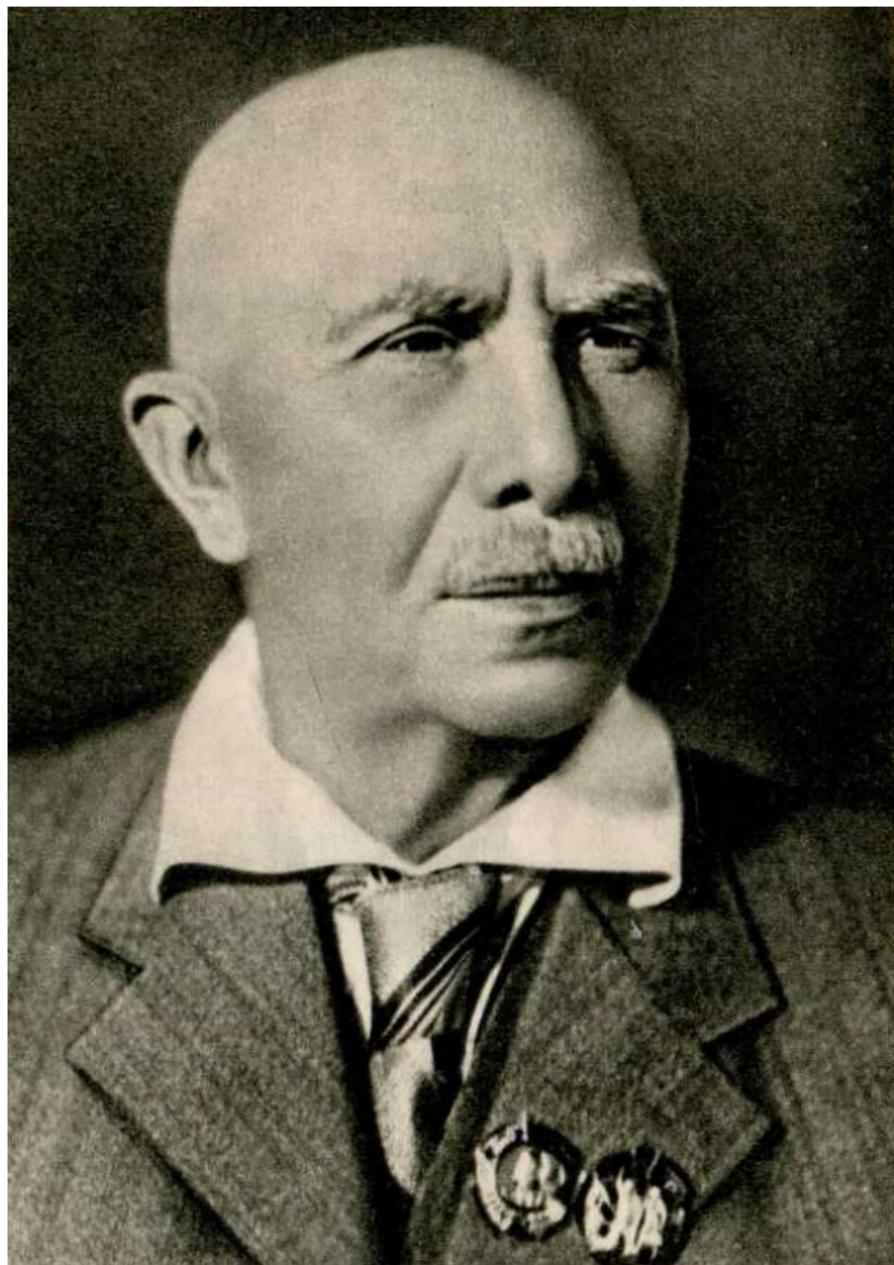
*В книгу входят рассказы и очерки писателя разных лет, доступные читателям среднего школьного возраста.*

# Содержание

#1	0006
#2	0008
ОБ АЛЕКСАНДРЕ СЕРАФИМОВИЧЕ, ПИСАТЕЛЕ И ЧЕЛОВЕКЕ	0009
НА ЛЬДИНЕ	0030
I	0030
II	0033
III	0037
IV	0043
V	0046
СТРЕЛОЧНИК	0056
I	0056
II	0059
III	0069
IV	0072
V	0078
VI	0082
ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ	0087
МИШКА-УПЫРЬ	0102
ЧЕРНЫЙ ТРЕУХ	0205
СТЕПЬ И МОРЕ	0213
ОЦЕНЕННАЯ ГОЛОВА	0230
I	0230
II	0233
III	0237

IV	.0239
V	.0243
VI	.0246
VII	.0249
VIII	.0251
ДВЕ СМЕРТИ	.0255
КАК МЫ ЧИТАЛИ КАРЛА МАРКСА	.0267
В ГОСТЯХ У ЛЕНИНА	.0274
С ВЫСОТЫ ВОСЬМИДЕСЯТИ ПЯТИ ЛЕТ	.0283
#15	.0287
#16	.0287

Александр Серафимович  
Черный треух



А. СЕРАФИМОВИЧ

...Ваши произведения и рассказы сестры (М. И. Ульяновой. — Ред.) внушили мне глубокую симпатию к Вам и мне очень хочется сказать Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша работа...

*В. И. ЛЕНИН.*

Из письма А. С. Серафимовичу 21 мая 1920 года.

# ОБ АЛЕКСАНДРЕ СЕРАФИМОВИЧЕ, ПИСАТЕЛЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

«**М**охнатые сизые тучи, словно разбитая  
стая испуганных птиц, низко несутся  
над морем. Пронзительный, резкий ветер с  
океана то сбивает их в темную сплошную  
массу, то, словно играя, разрывает и мечет,  
громоздя в причудливые очертания...»

Серафимович читал свой рассказ ровно, не  
повышая голоса, но внутренне был взволно-  
ван: как примут, что подумают слушатели.  
Рассказ он писал тайком от товарищей. В его  
основу положил подлинное происшествие, о  
котором говорил весь городок.

Городок был маленький, одна улочка,  
один переулочек. Он стоял на берегу громад-  
ной сердитой северной реки Мезени и тоже  
назывался Мезень. За рекой тянулись леса и  
топи до самого Архангельска, а с другой сто-  
роны до Ледовитого океана — тундра.

Природа суровая. Морозные зимы, длин-  
ные, нескончаемые ночи. Туда, в этот глухой

край, сослало царское правительство революционеров. Студент Петербургского университета Серафимович был сослан в Мезень в 1887 году за то, что написал прокламацию, призывавшую к борьбе с царизмом.

В далекой северной ссылке Серафимович создал свое первое литературное произведение — рассказ «На льдине». Вдохновили его рассказы поморов об их опасном и трудном промысле.

Поморы жили охотой и рыбной ловлей. Случалось, погибали в единоборстве с суровой природой, случалось — возвращались домой с пустыми руками. Но даже если помору сопутствовала удача, все равно ему приходилось большую часть добычи отдавать кулаку за то, что брал у него снасть и оружие.

Глубоким сочувствием к простому человеку был исполнен рассказ Серафимовича. Автор восхищался своим героем помором Сорокой, выносливым и мужественным, бросившим вызов могучей стихии. Судьба Сороки драматична — его уносит на льдине в безбрежный океан. А ведь еще можно было спастись. Нужно было только бросить шкуры, и

тогда налегке удалось бы достичь берега. Но разве мог забыть Сорока о том, что дома ничего нет, что надо накормить голодных детей...

Целый год работал Серафимович над рассказом. Много раз переписывал его, подбирал наиболее точные эпитеты и сравнения. И вот рассказ закончен. Теперь надо его прочитать товарищам по ссылке. Позднее Серафимович рассказывал: «Я решил пойти посоветоваться. Постучал в дверь и думаю: «Зачем я это сделал?» Вошел я — они сидят за столом и пьют чай.

Они на меня: «Что ты там сидишь, садись и пей чай, а то остынет». Посидел я и говорю: «Товарищи, я хотел вам почитать свой рассказ». В это время все зашумели: «Что? рассказ написал?» А я думаю, какую я сделал глупость. Развернул я свою рукопись, руки у меня дрожат, рукопись дрожит, закрылся я, чтобы не было видно их лиц, и начал читать. Читаю, читаю и не узнаю своего голоса... А они все молчат. «Ну, думаю, пропал». Пот с меня падает в чай, кончил читать — они все молчат. Да вдруг как закричат: «Ай да Серафимович». Так в ту ночь зимою я сделался писате-

лем».

\* \* \*

Александр Серафимович Серафимович (Попов) родился 19 января 1863 года в станице Нижне-Курмоярской, на Дону, в казачьей семье. Казачество являлось одним из оплотов самодержавия. Быть бы и Серафимовичу верным защитником царского престола. Но жизнь его сложилась иначе: он стал певцом бедных и обездоленных, он пришел к коммунистам.

Его родители принадлежали к офицерской среде. Из чистых, светлых барских комнат мальчик бегал в казармы. Там люди были проще и добрее. Он подружился с денщиком отца Нефедом и слушал его долгие интересные рассказы о солдатской службе, о боевых походах.

Однажды он увидел: наказывали розгами казака, который затосковал на чужбине по родному краю и бежал. В слезах мальчик бросился к матери с вопросом: «Почему так жизнь устроена?» Он нашел на этот вопрос ответ, когда вырос: «Когда я прочитал, что царей свергали с престола, рубили им головы,

убивали, я вдруг почувствовал, что царь — не последнее звено в цепи, той цепи, один конец которой порол руками казаков окровавленного беглеца, так тосковавшего по дому, по работе, по пашне. И хотя я не имел понятия о классах, но почва была взрыхлена и ждала только семени».

Школьные годы будущего писателя прошли в станице Усть-Медведицкой (ныне город Серафимович). Гимназия с ее зубрежкой и карцером, с нудным молитвенным пением, с покровительством сынкам кулаков и мелкими придирадками к детям из бедных семей была не по душе Серафимовичу. Особенно враждебно относился он к урокам закона божьего. Поп елейным голосом призывал к смирению, но Александр вспоминал казака, которого били розгами. Нет, думал он, смирением ничего не достигнешь...

Из гимназической церкви, посещение которой было для учащихся обязательным, иногда удавалось сбежать. Александр и его товарищи веселой компанией отправлялись на берег Дона. Купались, ловили рыбу. Белой стеной стояли над рекой меловые холмы. Сквозь

камышы блестели озера, и смотрели в воду вековые дубы. С юных лет полюбил Серафимович прекрасные степные просторы. Не раз возвращался он к их описанию в своих книгах.

Серафимович рано пристрастился к книгам. Запоем читал он русских классиков. Особенно сильное впечатление на него произвели работы революционеров-демократов: Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Книги пробуждали в юноше порывы к знанию, к полезной деятельности, веру в другую, лучшую жизнь.

В 1876 году умер отец Александра, и начались годы «незамирающей бедности». Пенсия, назначенная семье, была нищенской. Спесивая среда офицерства отвернулась от одинокой вдовы. В доме теперь стала бывать казачья беднота. Александр, чтобы помочь матери свести концы с концами, бегает по грошовым урокам.

Но вот гимназия окончена. Серафимович едет в Петербург и поступает в 1883 году на физико-математический факультет университета.

80-е годы — время жестоких полицейских репрессий. После убийства революционерами-террористами, членами общества «Народная воля», Александра II начался поход против просвещения и против демократической печати. Но в эти же годы в стране происходят первые массовые выступления рабочих, организуются первые в России марксистские кружки и группы. Лучшие умы России тянутся к марксизму. Серафимович в университете входит в кружок, занимающийся политической экономией. Он знакомится с трудами Маркса, изучает «Капитал» и приходит к пониманию законов общественной жизни.

В очерке «Как мы читали Карла Маркса», написанном много лет спустя, в 1918 году, Серафимович рассказывает о том, что поначалу читать «Капитал» было трудно. Но дальше, когда первые трудности остались позади, книга стала читаться как увлекательнейший роман, перед слушателями кружка открылись законы истории, стало ясно, что коммунизм — неизбежная грядущая стадия общественного развития, наступление которой подготавливается всей историей человечества и

внутренними законами самого капитализма. «И среди мрака царского и буржуазного владычества для нас загорелся вдали ослепительно яркий огонь надвигающегося, и кругом посветлело: явился смысл жить, работать, бороться».

Среди близких друзей Серафимовича в университете — революционер Александр Ульянов, брат Владимира Ильича Ленина. Когда Ульянов был арестован, Серафимович написал воззвание к молодежи, призывая к борьбе против самодержавия. Арестовали и его и по обвинению в политической неблагонадежности сослали в Мезень. Завершить образование будущему писателю не удалось. Судьба готовила ему иные университеты — тюрьму, ссылку, полицейский надзор.

В Мезени его окружали деятельные, стойкие люди — ссыльные революционеры. С одним из них, организатором знаменитой стачки орехово-зуевских рабочих Петром Моисеенко, Серафимович особенно подружился. Вместе они организовали столярную мастерскую, чтобы наладить связь с местным населением, с поморами.

Поморы были неграмотными и нищими. Самвона поп постоянно внушал им, что вся беда от политики, что они ни в каком случае не должны иметь дело с «политическими». Но постепенно поморы начали доверять ссыльным революционерам, стали прислушиваться к их горячим речам о социальной несправедливости, о лучшем будущем России. Столярная мастерская сделалась местом революционных собраний. А полицейские только удивлялись, почему это поморы один за другим — кто со столом, кто со скамейкой — повадились ходить в столярную мастерскую...

Там-то, в Мезени, и принялся Серафимович за свой первый рассказ «На льдине». Он закончил его в Пинеге, другом маленьком городке под Архангельском, куда его вскоре перевели. Рассказ был напечатан в газете «Русские ведомости», и о молодом писателе с похвалой отозвался В. Г. Короленко.

С тех пор литературный труд стал для Серафимовича делом жизни. Он писал о народном горе, о «постылой жизни» простых людей, рабочих разных профессий, замученных бедностью, непосильным трудом и бесправии.

ем. Вот стрелочник Иван Герасимович (рассказ «Стрелочник»). Всю жизнь проработал он на железной дороге, все силы отдал ей. Об одном только думал: как бы успеть все сделать, как бы о чем не забыть. Но произошел несчастный случай — его задавило на стрелке. Горько плачет вдова перед начальником станции: «Нельзя ли от железной дороги чего-нибудь, помощи какой?»

И начальник станции, словно откупаясь за все двадцать два года, отданных Иваном железной дороге, протягивает ей трехрублевую бумажку. Три рубля... — жизнь простого человека не стоит дороже. Никому нет дела, как дальше будет искать средства к существованию осиротевшая семья.

Во многих произведениях Серафимовича герои — дети. Смелость, находчивость, мужество — эти черты писатель находил у детей рабочих и крестьян. Их жизнь была нелегкой. Рано они узнавали нужду, приучались терпеть обиды. Серафимович не рассказывает, как дальше сложилась судьба его юных героев. Но у читателей не возникает сомнений: все они — и озорной Мишка («Миш-

ка-упырь»), и рано повзрослевший Пахомка («Степь и море»), и многие другие связали свою судьбу с Октябрем, с советской властью. На любом фронте гражданской войны, на каждой социалистической стройке можно было найти таких, как они, — выросших Пахомок и Мишек.

Серафимович глубоко сочувствует своим героям, однако не прикрашивает их. Мальчуган из рассказа «Лесная жизнь», оказавшись ночью совершенно один на озере, сначала испугался, струсил. Но свой страх он сумел преодолеть. Стойкость, упорство — такие человеческие качества воспевает писатель. Герой рассказа хорошо знает природу, и это помогает ему выйти победителем в схватке с нею. Он умеет сам сколотить плот, расставить силки для птиц, развести костер. Он зорек и наблюдателен. Вот что-то пушисто-красное едва мелькнуло между кустарниками, а он уже успел разглядеть, что это лисица...

Нисколько не идеализирует Серафимович мальчишку из рассказа «Мишка-упырь». Мишка крадет овес, насмешничает над старшими, самовольно бежит из дома. Но все это

он делает не оттого, что испорчен, а оттого, что в нем бьет через край энергия, которую ему некуда разумно применить. Мишка не может учиться — в царской России это было привилегией богатых. Он постоянно страдает от голода и с раздражением смотрит через окно, как в ресторане объедаются бородатые купцы. Мишка еще не умеет разобраться, кто его враг и кто друг, но почти все его дерзкие выходки направлены против мира толстых: против Козла — злобного хозяина бакалейной лавки, против разодетых буржуа в ресторане и в вагоне трамвая.

А как он чувствует прелесть природы, как радуется солнцу, траве, реке! Он живой, веселый и непосредственный. Не теряется он в любой обстановке: в городе и в деревне, в поезде и на челноке, в конюшне и на колокольне. Мишка — хороший товарищ. Когда его спутнику угрожает наказание, он берет вину на себя, выгораживает его.

Правдиво показаны отношения Мишки с отцом. Он любит своего отца, радуется редким счастливым вечерам, когда отец возвращается после работы с получкой и распевает

с детьми песни. В то же время Мишка побаивается отца, особенно когда набедокурит. После самовольного побега из дома, продолжавшегося целых три дня, он со страхом ожидает порки. Все же Мишка тоскует о родной семье, с большим теплом думает о ней. И когда возвращается, отец и мать задушевно, дружески встречают его.

Серафимович посвятил этот рассказ своим сыновьям Толке и Игрушке — Анатолию и Игорю. Они и были первыми читателями рассказа, когда летом 1908 года отдыхали с отцом в станице Мелиховской на Дону. «Бегут мимо пароходы, парусные лодки. Я живу в мезонине, гляжу на зеленый луговой простор, на синюю гладь старого Дона и пишу», — сообщал писатель одному из своих друзей о работе над «Мишкой-упырем».

Рассказ «Черный треух» написан Серафимовичем в 1914 году, когда Россия вступила в захватническую и несправедливую империалистическую войну. Герой Серафимовича — десятилетний ребенок, которому приходится добывать себе пропитание на улице. Сын солдата вынужден вести жизнь беспризорника.

Он рано повзрослел, расстался с детством. Он рано научился уважать труд, узнал, как нелегко дается каждая трудовая копейка.

С судьбой мальчугана из рассказа «Черный трех» сходна судьба Пахомки, героя рассказа «Степь и море». У него тоже отца призвали в армию, ему тоже пришлось рано начать зарабатывать на хлеб. Но Пахомка во всем стремится подражать своему отцу. Он унаследовал от него настойчивость в борьбе, силу воли. И все-таки как трудно мальчонке, когда он единственный мужчина в доме! Вот ночью в море его застигает буря. Раньше он спокойно чувствовал себя в лодке, потому что на корме сидел сильный и смелый человек — его отец. А теперь, без отца, Пахомка испугался бури, стал звать на помощь...

Тяжелое, трудное детство у героев Серафимовича. И дети и взрослые одинаково страдают. Но рассказы писателя не только проникнуты сочувствием к жертвам капитализма. Художник создал и образы борцов за свободу, за счастье народа. Создать эти образы ему оказалось под силу, потому что большевистская партия научила его правильно разби-

раться в людях, в окружающей действительности.

Сильное влияние оказал на Серафимовича Горький. Еще в 1901 году Алексей Максимович проявил интерес к творчеству Серафимовича. В этот период Горький организовывал передовое издательство «Знание». Все честные писатели-демократы постепенно сплотились вокруг него. Горький запрашивал: «Нельзя ли привлечь Серафимовича?» В 1903 году, советуя «строго выбирать» участников первого сборника «Знание», Алексей Максимович один из рассказов Серафимовича включил в него. В годы первой русской революции оба писателя поддерживали постоянную связь.

В произведениях Серафимовича 1905–1907 годов во весь голос звучит революционный протест. Серафимович был свидетелем декабрьского восстания московского пролетариата, боев на Красной Пресне. Он много писал, и перо в его руках было оружием, а сам он был не только писателем, но и бойцом. Об отваге и мужестве московских рабочих, по выражению Ленина, «штурмующих небо»,

рассказывали его очерки «На Пресне», «Похоронный марш», «Мертвые на улицах». Рабочие писали Серафимовичу: «Твои незабываемые рассказы о первой революции вдохновляли борцов на продолжение борьбы».

К числу таких произведений относится и рассказ «Оцененная голова», созданный писателем вскоре после поражения декабрьского вооруженного восстания 1905 года. Революционера Богуна, героя рассказа, преследует полиция. Три рубля — цена жизни простого рабочего, но за поимку Богуна объявлена награда — три тысячи рублей. На подавление революции власти не жалели денег.

Отважный революционер продолжает подпольную деятельность. Только одна слабость у Богуна: он настолько любит свою дочурку, что забывает об осторожности. Эту слабость используют враги. Они ловят героя.

Рассказ воспевал смелого революционера и в то же время учил: любая слабость, любая неосторожность солдата армии революции может привести его к гибели. Все же моральная победа остается за Богуном. Насколько он благороднее, чище своих преследователей!

Они гоняются за ним, чтобы получить деньги. А он бескорыстно, самоотверженно сражается за народ, за свободу.

В тяжелые годы реакции Серафимович сохраняет верность революционному знамени. В 1907–1910 годах он создает роман «Город в степи» — широкое полотно русской жизни на рубеже двух столетий. «Революция 1905 года разгромлена — да здравствует революция!» — так определяла идейный смысл романа газета «Правда».

А когда наступил Великий Октябрь, Серафимович восторженно приветствовал его. В 1918 году писатель вступает в Коммунистическую партию. В качестве корреспондента центральных газет он ездит по фронтам гражданской войны. За советскую власть воюют и оба его сына.

Каждая корреспонденция Серафимовича — не только сообщение о том, как обстоят дела на фронте и в тылу, но и совет, что нужно сделать: как помочь семьям фронтовиков, как организовать рабочую печать, как бороться с саботажниками. Писатель посещает заводы и фабрики, стройки, он рассказывает,

как вдохновенно и радостно трудятся советские люди. Он ведет большую литературно-организаторскую работу: возглавляет журнал «Творчество», заведует литературным отделом Народного Комиссариата просвещения.

Серафимович был учителем и наставником многих молодых литераторов. У него в доме впервые читал главы из романа «Мятеж» Фурманов, рассказывал о своих творческих планах тогда еще начинающий писатель Михаил Шолохов. В своей работе Серафимович руководствовался указаниями В. И. Ленина. В беседе с Серафимовичем Ленин подчеркивал, что «необходимо привлечь в литературу рабочих. На это надо направить все усилия. Каждому маленькому рассказу рабочего надо сердечно радоваться».

21 февраля 1920 года Серафимович побывал в гостях у Ленина. Эта встреча оставила в душе писателя неизгладимый след. В очерке «В гостях у Ленина» Серафимович с большой любовью рисует портрет Ильича — гостеприимного хозяина, доброго, радушного человека, внимательного собеседника. Ярko и многогранно раскрывается в очерке образ вождя

рабочего класса, создателя Коммунистической партии.

А когда Серафимович потерял на фронте сына Анатолия, Владимир Ильич обратился к нему с письмом, полным глубокого участия. Задумчивыми, теплыми словами он утешал писателя в его тяжелом горе. Ленин в этом письме высоко оценил работу Серафимовича — корреспондента, очеркиста, автора рассказов из эпохи гражданской войны.

События гражданской войны вдохновили Серафимовича и на создание лучшего его произведения — романа «Железный поток» (1921–1924 годы). С большим мастерством автор повествует о героическом походе Таманской армии через занятую контрреволюционерами Кубань. Он ярко изображает простых людей, борющихся за социалистический строй, создает образ замечательного командира, неразрывно связанного с народом, большевика. «Железный поток» — восторженный гимн революции. Эту книгу и сегодня читают во всем мире, по ней учатся жить и бороться.

В небольшом рассказе «Две смерти», написанном в 1926 году, Серафимович также опи-

сывает эпоху Октября. Его героиня — отважная девушка, взявшаяся выведать военные планы белых. Она связала свою жизнь с судьбой рабочих, которые «рвутся из страшной доли». Девушка гибнет, выполняя свой революционный долг.

В конце 20-х и в 30-е годы Серафимович продолжает напряженную литературную работу. Он редактирует журнал «Октябрь», знакомится со стройками пятилеток, выступает в рабочих клубах, дворцах культуры. В многочисленных рассказах, в незаконченном романе «Колхозные поля» писатель создает картину социалистического переустройства жизни, показывает духовный рост советского человека.

Но вот началась Великая Отечественная война. Восемидесятилетний Серафимович отправился на фронт. С прямо-таки юношеской энергией включился он в народную борьбу: вел беседы с бойцами на привале, рассказывал по радио и в печати о том, как отважно сражаются с врагом советские люди. Как-то в момент боевых действий на Орловско-Курской дуге писателю непременно нужно было

добраться на передовую. Машиной проехать было невозможно, и он потребовал себе боевого коня.

Простой, не терпевший лжи и фальши Серафимович обладал удивительной внутренней силой. Выбрав себе в молодости нелегкую жизнь писателя-революционера, он ни разу не свернул с дороги. А в день своего восьмидесятилетия Серафимович выступил с обращением к молодежи. Глубоко и проникновенно говорил старый писатель о коммунизме, о светлом будущем, открывающемся перед советским народом. Это было его последнее выступление. Серафимович умер 19 января 1949 года.

Жизнь Серафимовича — замечательный образец служения художника делу народа, делу партии. Его книги и сегодня участвуют в борьбе. Они сражаются всюду, где идет бой за свободу, за справедливость. И никогда не забудут советские люди Серафимовича — писателя, гражданина, большевика.

*Андрей Чернышёв*

# НА ЛЬДИНЕ

I

**М**охнатые сизые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц, низко несутся над морем. Пронзительный, резкий ветер с океана то сбивает их в темную сплошную массу, то, словно играя, разрывает и мечет, громоздя в причудливые очертания.

Побелело море, зашумело непогодой. Тяжко встают свинцовые воды и, клубясь клокочущей пеной, с глухим рокотом катятся в мгlistую даль. Ветер злобно роется по их косматой поверхности, далеко разнося соленые брызги. А вдоль излучистого берега колоссальным хребтом массивно поднимаются белые зубчатые груды нагроможденного на отмелях льду. Точно титаны в тяжелой схватке накидали эти гигантские обломки.

Обрываясь крутыми уступами с прибрежных высот, к самому морю хмуро надвинулся дремучий лес. Ветер гудит между красными стволами вековых сосен, кренит стройные

ели, качая их острыми верхушками и осыпая пушистый снег с печально поникших зеленых ветвей. Сдержанная угроза угрюмо слышится в этом ровном глухом шуме, и мертвой тоской веет от дикого безлюдья. Бесследно проходят седые века над молчаливой страной, а дремучий лес стоит и спокойно, сумрачно, точно в глубокой думе, качает темными вершинами. Еще ни один его могучий ствол не упал под дерзким топором алчного лесопромышленника: топи да непроходимые болота залегли в его темной чаще. А там, где столетние сосны перешли в мелкий кустарник, мертвым простором потянулась безжизненная тундра и потерялась бесконечной границей в холодной мгле низко нависшего тумана.

На сотни верст ни дымка, ни юрты, ни человеческого следа. Только ветер крутит столбом порошу да мертвая мгла низко-низко ползет над снеговой пустыней.

Раз в году заходит и сюда беспокойный человек, нарушая угрюмое безлюдье дикого побережья. Каждый раз как ударит лютый мороз и проложит крепкие дороги через топи и

тундры, а на море в мгlistой дали обрисуются беспорядочные очертания полярных льдов, грозно надвигающихся с океана, — с далеких берегов Мезени и из прибрежных селений, через тундры и перелески старого леса, скрипя железными полозьями по насквозь промерзшему снегу, тянутся оригинальные обозы: низкие ветвисторогие северные олени, запряженные в длинные черные лодки на полозьях, гуськом идут друг за другом, осторожно ступая по крепкому насту, а рядом тяжелой, увалистой походкой широко шагают косматые белые фигуры.

И с угрюмой досадой видит старый лес, как раскидываются станом на несколько верст по его опушке незваные гости.

Стоит Сорока на торосе, в руках длинный багор держит и пристально смотрит в холодную даль. А там, почти на самой черте горизонта, сквозь мглистую изморозь смутно выделяются и растут неправильными очертаниями белые груды. Сорока застыл в напряженном ожидании. Все приметы к тому, что быть промыслу: птица кричит, с моря низко по ветру летит, и ветер-глубник встал. Мгла ползет над самой землей, за верхушки сосен цепляется, бор зашумел. Да, должен промысел попасть. И зорко всматривается он в холодную даль, старается разглядеть, нет ли добычи: над самым морем ходят туманы — не различает глаз.

День погасал. Ветер гудел в сосновом бору и в вихре крутил порошистый снег. Отовсюду ползли безжизненные серые зимние сумерки, заволакивая пустынный берег. Там и сям из-за массивных ледяных глыб виднелись косматые белые фигуры с длинными баграми в руках, напряженно всматривавшиеся в мглистую даль. Море глухо шумело. Вдали

безобразною белою грудой смутно надвигалась громада льдов.

Глянул Сорока по берегу, смотрит — за соседним обломком льда Ворона стоит с багром, туда же глядит. Посмотрел на него Сорока, и темно стало у него на душе. Здоровый мужик Ворона, совик на нем олений добрый, бафилы новые: стоит себе, на багор слегка оперся, глядит на море, видно, не тужит: попадет промысел — Ворона новую шхуну пустит, еще пуще торговать начнет; не попадет — горевать не будет.

Да и сам Ворона надрывать себя на промыслах очень не станет: для него набьют зверя покрутчики. И Сорока пошел от него покрутчиком и за то, что Ворона снабдил его теплой одеждой, должен отдать ему половину добычи.

Ветер зашумел, разорвал туман и колеблющейся пеленой отнес безжизненную мглу к самому горизонту. Глянул Сорока, встрепенулся. Позабыл и Ворону, и олений совик его новый, и свою досаду на него, и то, что он должен отдать ему половину добычи, — позабыл все Сорока и впился зоркими глазами в по-

светлевшую даль.

А там, насколько хватал глаз, тянулась, на-  
двигаясь к берегу, изрытая, изборожденная  
ледяная равнина, уходя в холодную серую  
дымку далекого горизонта. Громадные сине-  
ватые глыбы, стоямя торчавшие над белесо-  
ватую массу мелкого льда, медленно подни-  
мались и с треском рушились, выжатые сни-  
зу напором прибывающей воды. Тяжело на-  
двигались ледяные поля, и смешанный гул  
висел над ними, не похожий на морской при-  
бой. Точно бог весть откуда смутно докатыва-  
лись глухие раскаты урагана.

Видит Сорока, едва глаз улавливает — чер-  
ными точками реют птицы. Загорелись у  
него глаза. «Есть!» Собрал он в кольца ремен-  
ную веревку, попробовал багор, взял палку  
кривую, приготовился, ждет, пока льды по-  
дойдут к самому берегу.

Огляделся, видит — день совсем кончается.  
Недолог бывает он на этом далеком берегу.  
Чуть-чуть выглянет солнышко из-за туманно-  
го горизонта холодными лучами на каких-ни-  
будь полтора часа — и снова спешит опу-  
ститься почти в той же точке, откуда и взо-

шло.

Сквозь разорванную мглу скользнул последний безжизненный луч, заиграл мириадами радужных искорок в снежинках, отразился во льду тороса и на мгновение бледно осветил и глухо рокочущее льдистое море, и этот бесприютный, одетый печальным саваном берег, и сотни разбросанных вдоль его человеческих фигур.

На заискрившихся снежных сугробах прибрежных холмов там и сям темными пятнами выступили закоптелые, насквозь пропитанные дымом убогие промысловые избышки.

Снова зашумел ветер, набежал мглой и разом задернул погасавшее светило. Безжизненный, унылый колорит лег на всю окрестность.

Первые воды прилива добежали до берега и помыли подножье тороса. Смолкли шумевшие до того волны, придавленные тяжелой грудой. И как придвинулись ледяные поля к самому берегу — гул пошел окрест и рокотом отдался в глубине бора. Послышалось могучее шипение, шорох, треск ломающихся глыб, словно надвигалось стоногое чудовище. Передовые льдины, столкнувшись с торосом и сжатые тяжело напирившей массой, рассыпая белую пыль, ползли на вершину, громоздились в причудливые горы. Звуки смешивались в хаотический гул. Тонкая ледяная пыль висла в воздухе и уносилась ветром. Движение ледяной массы, встретив преграду, превратилось в колоссальную энергию разрушения: в несколько минут вдоль всего берега ломаными очертаниями тяжело поднялись новые громады.

Только подошел лед к берегу, как несколько сот промышленников кинулись вперед.

Сорока спустился на лед одним из первых. Прыгая со льдины на льдину, скользя, прова-

ливаясь по пояс в наметенный ветром снег и лед, он бежал вперед. Ледяные обломки с грохотом валялись по его следам. Всем его существом овладела одна мысль, неотступная, напряженная, как дрожащая струна, отдававшаяся в груди с каждым ударом быстро стучавшего сердца: «Кабы напасть, поспеть... Царь небесный... Владычица!..» Осколки льда брызгами летели из-под бафил. Ветер свистел в ушах и бил в лицо ледяными иглами, одевая бороду и усы пушистым инеем. А он ничего не замечал и бежал все вперед.

Спускалась ночь. Берег неясными очертаниями терялся в мгlistой дали. Он остановился на мгновение и, затаив дыхание, чутко насторожил слух. Кругом было пусто, и шумел ветер. Необозримая ледяная равнина уходила к стущавшиеся сумерки. Он пробежал версты две и стал уставать. «Господи, не нападу... пропущу! — с отчаянием думал он, — а надо ворочаться, воды уйдут!»

При одной мысли, что он вернется с голыми руками, по нем пробежала дрожь. Курная избушка, семья, дети ждут... Он припал ко льду и чутко приник ухом: откуда-то справа

донеслись звуки, чрезвычайно похожие на плач дитяти. Мгновенно слетела усталость, он кинулся в ту сторону и опрокинулся навзничь: перед ним зияла темная щель. Пришлось обегать. Обливаясь потом, он наконец различил в начинавшей быстро сгущаться темноте неясные очертания каких-то темных масс.

В один прыжок Сорока был там. Здесь расположилась целая семья тюленей: громадные неуклюжие звери безобразными темными глыбами неподвижно лежали на льду. Заслышав человека, они всполошились и, опираясь на передние лапы, высоко подняв уродливые головы, неуклюже поволокли свое тяжелое тело. Очевидно, в присутствии врага они худо чувствовали себя на льду, далеко от своей родной стихии.

Нагнав ближайшего, Сорока изо всех сил махнул ему палкою между глаз. Зверь припал головою ко льду, в воздухе свистнул багор, железное острие до самого крючка вбежало в переносицу. Капли горячей крови брызнули в лицо, и громадный зверь, которого в другое место и ружейная пуля не берет, неподвижно

вытянулся на льду. Меткими ударами Сорока положил еще несколько зверей.

Привычной, слегка дрожащей от волнения и усталости рукой быстро снимал он с убитых зверей шкуры и толстый слой сала. Снимает Сорока шкуры, спешит, а сам прикидывает, сколько выручит. Весело и легко стало Сороке, и сам себе ухмыляется в бороду. Если каждый раз будет так удачливо, сразу хозяйство станет на ноги.

А время не ждет, бежит — того и гляди начнется отлив. Заспешил он, схватил кожи и сало, скатал все в большой юрок, прикрутил ременной лямкой, накинул на плечо и поволок по льду. Трудно было тащить по неровной, изрытой поверхности шести-семипудовый юрок.

Ночь, темная, глухая, спустилась на шумевшее льдом море. Холодная непроницаемая мгла ползла со всех сторон и все гуще и гуще заволакивала пустынную равнину, над которой лишь бежал холодный ветер да шумел в ледяных глыбах.

Сорока шел наугад, руководясь ветром да какими-то неуловимыми для непривычного

человека и лишь знакомыми поморам приметями. Он напряженно всматривался в окружающий мрак, постукивая иногда перед собою багром. Пот градом катился с него, но он не чувствовал усталости: не с пустыми руками ворочается, только бы добраться.

Хорошо знал Сорока: воротится он домой, вся добыча уйдет за долги, за то, что снаряжал его на промысел, вся добыча уйдет кулаку Вороне, а все-таки радостно тащил он тяжелый юрок, и пот градом катился.

«Чтой-то берегу все нету?» — мелькнуло у него.

Он огляделся кругом: глухая ночь мрачно глядела на него мертвыми очами. Острое предчувствие кольнуло его.

«Ох, не запоздать бы, давно уже с берегу, — время!»

Он перекинул лямку на другое плечо и еще быстрее потащил юрок. Назойливая мысль, что опоздал, что пойдет отлив и его унесет в море, так и сверлит мозг. Налегает Сорока на туго натянувшуюся лямку, надрывается, чует — упустил время. Колени подгибаются, спотыкаться стал. Впереди сквозь

непроницаемую завесу мрака мигнули два-три разрозненных огонька: стало быть, берег близко.

Бежит Сорока из последних сил. Трудно дышать, в висках стучит, в горле пересохло, больно воздух холодный глотать.

Хочется остановиться хоть на минутку, но он делает усилие над собой и, перехватив на ходу раз-другой холодного снега, еще сильнее наваливается...

Что-то зашуршало и зашелестело. Впереди смутно обрисовалась громада торосов, лед дрогнул и заскрипел.

«Бросить юрок — успею добежать!» — мелькнуло у него на мгновение.

Но он не бросил, а сделал страшное усилие и, волоча юрок, побежал...

## IV

Занесенная совсем с крыши глубоким снегом печально чернеет промысловая избушка. Из отверстия, проделанного в крыше, вырываются легкие клубы дыма и, подхватываемые ветром, быстро исчезают.

Внутри избушки темно, и только огонек, разложенный в углу, на грудке камней, освещает неверным, колеблющимся красноватым отблеском черные бревенчатые стены без окон, закоптелую плоскую крышу, спускающуюся с нее махровой бахромой нагорелую сажу и длинные грязные нары вдоль стен. В воздухе легкими слоями висит едкий дым. На нарах расположились дюжие фигуры промышленников. Их набилось человек двадцать. Это один из отрядов той промысловой армии в несколько сот человек, которую ежегодно высылают к безлюдному берегу Белого моря неумолимая нужда и тяжелые жизненные условия Севера.

Медленно и скучно тянется время. Злую шутку сыграло родное море: в несколько часов побелело оно льдами, немало добычи

принесло к берегам, — да вдруг набежала непогода, расколола и сломала ледяной покров и безобразными грудями раскидала его на сотни верст. И приходится коротать долгие полярные ночи и серые зимние дни, а единственное средство развлечения — табак и песня — безусловно, изгнано.

«Море чистоту любит, молитву, — говорят промышленники, — а то ежели с табаком, да с песней, да с сквернословием, так и не вынешь ничего: вдруг ветер падет с берегу и всю кожу отобьет, да и тебя вглубь вынесет».

В углу, вокруг красноватого костра, клубившего смолистый пахучий дым, сидят и лежат промышленники. Они коротают тоскливое время, слушая сказки и разные бывальщины.

Снаружи захрустел снег под чьими-то тяжелыми шагами... Дверь распахнулась, ворвавшийся холодный ветер колыхнул красноватое пламя костра и за клубился дымом. Вошел мужик в совике. Покрытое инеем лицо, точно поросшее белым мохом, угрюмо выглядывало из мехового капюшона.

— Сороки нетути, — проговорил он низ-

ким голосом, — унесло!

Все разом смолкли. И у каждого мелькнуло в голове: холодный простор, льды да звездное небо, а во льду человек бьется и стынет.

— Што же сидите? — сурово проговорил старик. — Ступайте к карбасу!

Человек восемь поспешно стали надевать «рубахи».

Старик вышел и посмотрел на море. Оно зеркальным простором уходило в морозную даль, и с вышины звездное небо гляделось в него. В синеватой дымке недвижно дремал старый лес, и вдоль берега, словно исполины на страже, молча подымались ледяные утесы. В застывшем ночном воздухе висела мертвая тишина.

Через минуту небольшой карбас отчалил от берега и, далеко оставляя за собой колеблющийся фосфорический след, потонул в морозном сиянии.

Ветер упал. Затихавшие волны несли изломанные, рассеянные остатки ледяных полей, словно разбитые обломки гигантского корабля. Тучи поспешно сбегали с синего свода, унизанного ярко мерцавшими звездами, и долгая северная ночь, прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над глухо рокотавшим морем, которое, словно сердясь, еще не улеглось от недавней бури.

Постепенно море очищалось от льда, и только одинокие глыбы там и сям тихо покачивались волной. На одной из таких льдин, смутно рисуясь на синем фоне далекого горизонта, неясно выделялся темный силуэт высокой фигуры.

Это был Сорока.

Он искусно работал багром, и гибкий шест бурлил и пенил холодную воду. Неуклюжая глыба тихо подвигалась вперед. Бесконечным простором расстилалась вокруг водяная гладь.

Сорока поднял голову: вверху сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведи-

ца, — по ней надо держать путь. Сорока наваливается на багор, толкает вперед тяжелую льдину, а в голове несвязно теснятся темные думы: далеко море вынесло, мороз лютый ударил, другие сутки во рту ничего не было. Налегает Сорока на багор, старается, слышит — слабеть стал. Приостановился на минутку, снегу перехватил, огляделся кругом: водная пустыня в голубоватом сумраке тянулась без конца и пропадала.

Сбежали последние легкие тени тучек, морозное небо фосфорически заискрилось мириадами блесков. Море улеглось необъятно, и в нем дробились звезды.

Чует Сорока — не кончить добром: охватило холодное море, а в очи неподвижно глядит побелевший мороз, неслышно подбирается, острыми иглами проникает в стынущее тело.

Работает Сорока, старается согреться работой, а в голове смутной вереницей бегут смутные думы. «Господи, вынеси... ребята малые, несмысленные... не подымут силу... кому надоть... Хозяйки нетути...» Лезут в голову думы, что дома ничего нет, что напромышляй он промыслу, поправился бы хоть сколь-

ко-нибудь и Вороне отдал бы долги. Все бы сделал Сорока, да вот вернется ли? Вспомнил избушку, темную, дымную. Придет, бывало, с промыслов Сорока и распарит и согреет грешное тело. Вспомнил, как еще мальчиком ходил с отцом на промысел. Кругом шумел морской прибой, и ходили ледяные горы. Тропки на болотах вспомнил, птицу пернатую, зверя лесного, что ловил. Бедность свою вспомнил, и, как подумал обо всем Сорока, горько стало ему. Налег на багор и мысленно окинул пространство, что надо пройти: «Ох, не добратся!» И опять стало жалко себя. Неужели же так-таки ему и пропадать?

Не верится Сороке. Много годов хаживал он на море. По неделям, по месяцам приходилось жить. Кругом море, льды да небо. Бывало, далеко уносило, без хлеба, без огня, без помощи, на волос от смерти бывал, а выносило же. Вот те все вернутся домой: хата теплая... ребятишки... с промысла продадут... хозяйство поправят... а его будет носить по морю безжизненным куском льда. И у него дома ребята, и хозяйство, и промысел есть, а вот не вернется! Защемила тоска, жалко помирать, а

знает — замерзнет, обессилел. Тяжелая слезинка выжалась из глаз, сползла по суровому лицу и повисла замерзшей капелькой на обледенелых усах. Поднял голову и недоумевающе посмотрел затуманившимися очами на далекое небо, отливавшее холодным блеском, точно ждал ответа. Но стояло ночное безмолвие над застывшим миром.

А сверкающий купол медленно, но непрерывно совершал свой урочный поворот вокруг маленькой звездочки в хвосте золотого крючка Медведицы.

На сверкавшем небе пронеслось дымчатое облачко, и звезды искрились сквозь его тонкое тело, а из-за края зловеще разгорался сполох, зажигая небо волшебными бегущими огнями.

Из последних сил бьется Сорока, слабее и слабее гнется длинный шест; занемели руки, не слышно ног, клонит отяжелевшую голову. Хочется ему хоть на минутку присесть, да хорошо знает, зорко следит белый мороз: только останешься без движения, он обоймет, повеет и проникнет насквозь холодным дыханием. Борется Сорока с дремой и не думает

уже: мысли спутались, оборвались и неясно проносились, точно по ветру клочья безжизненного тумана. Понял Сорока — не жить ему, и опять вспыхнули в его холодеющем мозгу далекие родные картины, вспыхнули и погасли. Понял Сорока, теперь уже никто ему не поможет, не поспеет, не услышит.

— Братцы, пропадаю... отцы родные!..

И этот безумный вопль дико нарушил ночное безмолвие, пронесся над водной гладью и, как бы подымаясь все выше и выше, замер в топком морозном тумане. Только дальние льды послушным эхом отразили ненужный вопль о помощи да маленькая звездочка сорвалась и скатилась, и снова все стихло.

А сполох все разгорался. На одной половине небо ярко горело звездами, а на другой половине потухли все звезды, и зловещая мгла мрачно глядела оттуда. Словно из гигантского жерла, вылетал оттуда белый клуб дыма и, расстилаясь, быстро проносился по небу, сквозь яркими звездами и потухая в зените. Каждый раз, как вспыхивала эта дымчатая пелена, казалось — вот-вот раздастся оглушительный удар и дрогнет заснувшее море. Но в

неподвижном воздухе стояла все та же немая тишина. Только из жерла бесконечно вспыхивали колеблющиеся огнистые полосы и быстро проносились, играя всеми цветами.

Сонливое состояние стало овладевать Сорокой. Надоело, лениво-тяжело было стоять на ногах, и он присел на корточки. Приятная теплота разлилась по телу. «Вишь, мороз-то менее стал», — мелькнуло у него. Тихая дрема туманила голову. Что-то смутное, неясное, давно забытое то всплывает несвязными обрывками в круговороте воспоминаний, то снова тухнет и тонет в бесконечных картинах прожитой жизни.

Стала представляться глухая ночь в глухой тундре. Во мраке носился ураган, и его бешеный гул, словно похоронный звон, уныло звучал над одинокой юртой, погребенной под снежным заносом. К самой юрте боязливо жалась олени. А в юрте сидит он, Сорока, самоед и его семья. Сидит Сорока на куче оленьих шкур, бочонок в руках держит и ведет торг: покупает у самоедов оленей. Не продают — без оленя в тундре издохнешь. Поднес Сорока самоеду стаканчик — повеселел тот; поднес

другой — стал самоед стговорчивее, поднес третий — запел самоед. Пел он обо всем, что было перед глазами. Стал пить водку и запел: «Ах, водка, хорошая водка!» В костер дров подкинули, он запел: «Ах, огонь, горячий огонь!» Залаяла собачонка, он пел: «Ах, собака, белая собака!» И щемящей тоской теперь повеяло на Сороку от этой давно слышанной песни.

Напоил Сорока самоеда допьяна, напоил и самоедку и купил у них за грош всех оленей. Утром улеглась буря. Он согнал оленей, только оставил самоеду трех, чтоб не пропал совсем. Уехал Сорока, а самоед остался в тундре. И теперь Сорока никак не может отвязаться от этого самоеда: смотрит он на него сквозь узенькие щелочки посоловелыми от водки глазами и не то ноет, не то плачет: «Олешки, олешки... ах, олешки!..» Хочет забыть об этом Сорока, мутится у него в голове, мысли мешаются, хочет отвязаться от этих мыслей и отдаться туманящей голову дремоте.

Он вздрогнул. Раздался гулкий протяжный удар, точно тяжелый артиллерийский залп. Где-то расселась ледяная громада, сжатая мо-

розом. Отраженное дальними льдами упругое эхо с рокотом далеко покатилося по водной глади.

На мгновение он как бы очнулся. К удивлению, никак не мог разодрать глаз: они точно слиплись. И, как далекая зарница в глухую полночь, мелькнуло смутное сознание опасности. В воздухе опять повисла мертвая тишина, и прежнее оцепенелое состояние овладело им. Ему надоело усиливаться поднять свои отяжелевшие веки. Опять дрема отуманила голову, и несвязные думы, точно легкие тени в лунную ночь, бежали смутной вереницей. Чудилось ему, что ожило мертвое море и тихо дышало бесконечным простором, и тонкий пар его дыхания подымался к далеким звездам, а в его недрах совершалось неведомое. Казалось, весь мир замолк, и та прежняя жизнь потухла, затаилась в этой загадочной пустоте, наполненной биением какой-то другой, незримой жизни. Чудилось, неслышно веет тихий ветер, и звучит смутный, едва уловимый звон, и легкий туман колеблется над морем.

И сквозь морозный туман чудится Сороке:

разбегаясь фосфорическим блеском, змеятся две светлые волны. И плывет на него, не касаясь воды, полупрозрачная, смутно-неясная лодка. Ледяная глыба дрогнула, зашаталась, взволновала спокойную поверхность; расходясь, побежали серебряные круги. Отраженные в колышущейся глади звезды задрожали, запрыгали и расплылись колеблющимся золотом. Только что показавшийся месяц уродливо вытянулся, заколебался и лег длинной полосой до самого горизонта. А над морем тихо спустился сумрак и покрыл все...

Сияя величавой красотой Севера, тихо дремлет над спокойным морем полярная ночь, затканная тонким искристым, морозным туманом. А над нею, сверкая причудливыми переливами фосфорической игры, разметалась звездная ткань. В темной пучине колебались повисшие яркие звезды. С вышины задумчиво льется голубоватое сияние. Мертвая тишина неподвижно повисла над застывшим морем, и чудится в этой сверкающей переливчатой красоте безжизненный холод вечной смерти. Мягкий синеватый отсвет озаряет необъятную водную гладь, подернув-

шуюся тонким льдистым слоем, и в морозной дали неподвижно скорчившуюся на одинокой льдине фигуру, опущенную белым инеем.

# СТРЕЛОЧНИК

I

— Эй, Иван, беги, начальник кличет!  
Иван, стрелочник, мужичонка лет сорока, с испытанным, истомленным лицом, весь в саже и масле, торопливо поставил в угол метлу, которою он сметал снег с платформы, и побежал в дежурную комнату.

— Чего прикажете? — проговорил он, вытягиваясь у дверей.

Начальник, не обращая на него внимания, продолжал писать. Иван стоял, вытянувшись и держа шапку под мышкой.

Он не смел еще раз спросить, а между тем дорога была каждая минута: он сегодня дежурит с восьми часов утра, дела по горло, надо станцию убрать к завтрашнему дню, убрать путь, осмотреть стрелки, тяжи к семафорам, вычистить все лампы и трубки, налить керосином, наколоть и натаскать на два дня праздника дров в станционные помещения,

убрать зал первого и второго класса, — и еще многое другое мелькает у него в голове, что нужно сделать. Уже пятый час, уже смеркается, надо огни зажигать на стрелках.

Иван приложил заскорузлую ладонь ко рту и осторожно кашлянул, чтобы обратить на себя внимание.

— На стрелках огни не зажигал еще? — проговорил начальник, поднимая голову.

— Никак нет, сичас побегу зажигать.

— Зажжешь — пойдй почисть из-под коровы: по колено в навозе стоит; никогда вовремя ничего не делается. От этого и копыта болят.

— Поезд товарный номер пять через десять минут, — осторожно вставил Иван.

— Ну, проводишь поезд, тогда...

— Слушаю-с.

Возражать не приходилось. Иван притворил за собою дверь и бегом прошел в ламповую. В крохотной комнатке, вроде чуланчика, по полкам стояло штук двадцать ламп самых разнообразных размеров, с блестящими, чисто вымытыми трубками. Иван отобрал из них несколько штук, поставил в широкий из

толстой жести ящик и пошел к стрелкам.

Было тихо. Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки. Зимние сумерки тихо спускались на станционные здания, на полотно, на дома обывателей. Снег хрустел под ногами. Там и сям проходили фигуры спешивших закончить свои дела людей, в ожидании отдыха в завтрашний праздник от повседневной нескончаемой работы и вечных забот.

Иван бегал от стрелки к стрелке и ставил лампы. По всему пути там и сям зажглись зеленые и красные огни, а на небе тоже зажигались одна за другой звезды, играя и искрясь сквозь прозрачный морозный сумрак.

Далеко-далеко с железнодорожного пути потянулся однообразный, долгий и унылый звук; он подержался в морозном воздухе и замер. Иван с секунду прислушался, потом побежал в будку, схватил фонарь, рожок и что есть духу пустился по полотну за станцию к самой дальней стрелке, что одиноко горела красной звездочкой среди снежной пелены пустынного поля. Бежать пришлось далеко. Но вот и стрелка. Иван взялся за рычаг, нажал ногой и навалился: тяж заскрипел, потянул рельсы и с визгом передвинул их на запасный путь. Вдали что-то зачернелось неопределенное и в то же время неуклюжее; затем оно стало расти и удлиняться все больше и больше, точно выползало откуда-то; блеснули два огненных глаза, и теперь уже ясно и резко зазвучал свисток локомотива. Звук вырывающегося из локомотивного свистка пара разносился во все стороны и стоял в морозном воздухе; казалось — ему и конца не будет. Уже вот и поезд весь виден, изогнувшийся на закруглении, уже и рельсы ста-

ли поддрагивать от надвигающейся громадной массы, а нестерпимый звук все режет ухо. Но наконец он оборвался и зазвучал три раза отрывисто и коротко.

Тогда Иван приставил рожок к губам, подобрал их особенным манером, надулся, покраснел и заиграл. И в ответ тому, что катилось, надвигалось и грохотало вдали, потянулся тонкий, унылый и жалобный звук рожка, от которого щемило сердце. Он тянулся безнадежно — все на одной и той же ноте, среди зимних сумерек, среди снежной равнины, в виду уходивших в бесконечную даль рельсов.

Казалось, этот жалобный звук рожка говорил о том, что все равно некуда спешить, что кругом все то же, что впереди такие же станции, каких миновали уже с сотню, те же станционные здания, звонок, платформа, начальник, служащие, разбегающиеся рельсы запасных путей, что тут так же уныло и скучно и каждый занят своим делом, своими мыслями, каждый ждет не дождется встретить праздник в семье и никому нет дела до тех, кто теперь мерзнет на тормозных площадках ваго-

нов и напряженно всматривается в даль с площадки с грохотом катящегося локомотива. Но потом рожок как будто раздумал и весело и коротко протрубил три раза: тру... ту-ту... дескать, хоть и скучно, и уныло, и все то же самое, а все-таки ведь можно забежать на станцию, выпить рюмку водки, закусить скверной селедкой, погреться, покалякать со служащими, а там — и опять в дорогу. Ведь и жизнь вся такая: труд, труд, изо дня в день, недели, месяцы, годы, и забудешь и не знаешь, что такое отдых. А вот когда и дождешься наконец отдыха, словно среди глухой степи на станцию поездом приедешь, так заворачивай-ка на третий запасный путь.

И локомотив послушался. Вот он уже совсем накатывается на стрелку, и пыхтит, и отдувается, и пар его дыхания с шумом вырывается из ноздрей и стелется по обеим сторонам белой пеленой но мерзлой и молчаливой земле. Он, видимо, начинает задерживать движение, вагоны набегают, сталкиваются и гремят буферами. Иван налег на рычаг, и поезд, хлопая, стуча и визжа на переходе железом о железо, стал переходить на запасный путь. Ми-

мо стрелочника прошел локомотив, тендер, потом пошли одни за другим вагоны. Их прошло уже штук двадцать, тридцать, а они, все так же набегая и сталкиваясь, катятся мимо, и редко-редко где виднеется закутанная человеческая фигура, закручивающая тормоз. Это был громадный груженный товарный поезд. Наконец мимо прошел последний вагон и покатился прочь, посвечивая в морозной мгле красным фонарем.

Стрелочник пустился догонять поезд, чтобы пропустить его на следующей стрелке на другой запасный путь. Хотя поезд сильно замедлил ход и шел все тише и тише, догонять его было страшно трудно. Иван, задыхаясь и чувствуя, что ноги у него подкашиваются, бежал у заднего вагона, не в силах схватиться. Раза два он схватывался, но замерзшие, онемелые руки срывались, и он едва не угодил под колеса. Наконец-таки он уцепился за подножку, взобрался и несколько минут неподвижно держался за перекладину, не будучи в состоянии отдышаться. Поезд совсем замедлил ход и шел мимо станции: платформа тихо плыла назад.

Стрелочник соскочил и побежал в обгонку поезда к будке, куда сходились проволочки — тяжи от нескольких стрелок. «Ну и, дьявол, здоровый!» — бормотал он, нагоняя голову поезда. Он быстро вскочил в будку: тут торчала целая куча рычагов от стрелок семафора. Он нажал один из них, и поезд, пройдя на запасный путь, стал вдали от станции в поле: ему нужно было дожидаться и пропустить почтовый поезд. Стрелочник перекинул рычаг на главный путь, по которому должен был пойти почтовый.

«Ну, теперя можно из-под коровы почистить», — решил он и направился через станцию на задний двор.

— Ты куда? — встретил его помощник начальника.

— Начальник велели из-под коровы...

— А платформа почему не подметена?

— Начальник велели из... под...

— Вовремя надо делать. Завтра праздник, а у нас на станцию не влезешь, гадость по колесам. Сейчас подмети!

— Слушаю.

Помощник было пошел, но приостановил-

ся и крикнул:

— Да дров натаскай ко мне на вечер дня на два, а то вас, чертей пьяных, на праздник и за хвост не поймаешь.

— Слушаю.

Помощник ушел. Иван взял метлу и стал подметать платформу. «И удивительное дело, — рассуждал он, широко захватывая справа налево метлой, — теперь одному человеку хучь разорваться. Об семи головах будь, и то не поспеешь...»

— Эй, Иван!

— Чего изволите? — проговорил стрелочник, подбегая к дверям багажной, где стоял заведующий багажом.

— Куда ты запропастился, черти тебя носят. С ума ты сошел или ради праздника натрескаться успел: до сих пор в первом классе лампы не зажег. Пассажиры съезжаться начинают, а там хоть глаз выколи. Не хочешь служить, так убирайся ко всем чертям...

— Запомятовал, Василий Василич. Иван Петрович велели платформу подмести, а господин начальник — из-под коровы...

— Платформа, платформа! Вовремя все на-

до делать: ступай сейчас — зажги.

— Слушаю.

Иван поставил метлу и побежал в зал первого класса зажигать лампы. Тут уже стали собираться пассажиры, и Ивану в их фигурах, движениях и в том, как они расхаживали по залу и давали носильщикам на билет, виделось молчаливое ожидание, что вот, мол, наступает праздник и можно будет отдохнуть от дел и забот. Иван зажег лампы и побежал дometать платформу. Покончив с платформой и опасаясь, как бы его опять куда-нибудь не услали или еще что-нибудь не заставили делать, он поспешил в дровяной склад. Дров колотых не было, — пришлось колоть. Иван с усердием принялся за работу. Надо было заготовить на все станционные помещения, но этого мало: надо было нарубить и натаскать для комнат и кухни начальника и помощника. Правда, у них была своя прислуга и он, собственно, не был обязан этого делать — на нем лежала исключительно обязанность смотреть за стрелками и за путями, но ведь если начальство приказывает — некуда деваться. И Иван продолжал с кряхтением взма-

хивать топором и отбрасывать расколотые поленья. Груда колотых дров росла все больше и больше.

«Должно, будя!» — решил он и стал увязывать поленья в громадные вязанки, чтобы скорее отделаться — разнести дрова. Но когда он взвалил себе на спину первую вязанку, то почувствовал, что захватил слишком много. Пошатываясь, хватаясь за притолоку и стены, пошел он, сгибаясь под огромной тяжестью, наваленной у него на спине. И все-таки он сбрасывать не хотел: хотелось разом и скорее разнести дрова. Четыре вязанки он разнес по стационарным помещениям, надо было еще нести начальнику и помощнику во второй этаж, а это была самая тяжелая работа; колени гнулись, ноги дрожали. С напряжением, с усилием переступая со ступени на ступень, он каждую минуту ожидал, что совсем с дровами полетит по лестнице. Наконец он добрался до кухни помощника начальника и свалил дрова.

— Чего же поздно так? Из-за тебя жди, приборку нельзя кончать, полы мыть, все одно заляпаешь, — встретила Ивана кухарка по-

мощника, сварливая, неуживчивая баба с красным носом и всегда «с зарядом».

Иван озлился:

— Да ты бы пораньше натрескалась да кричала бы, что поздно! Что же мне для тебя треснуть, что ли?

— Ах ты пьяница! Ах ты несчастный! Да будь ты трижды от меня, анафема, трижды, трижды проклят! Да я тебя, нечистая твоя морда, на порог не пущу теперя! Да я барину сейчас доложу... — И кухарка сделала решительный жест идти в комнаты.

Иван струсил.

— Макрида Спиридоновна, дозвоьте... да я к вам, значит, с нашим почтением и всегда рад... Може, вам помойку вынести?

И, не дожидаясь ответа, подхватил лохань, сбегал и вылил. Спиридоновна смягчилась. — Ну, натаскай же воды.

Иван натаскал воды.

— Лучины, что ли, наколол бы для самовара? В праздники-то неколи будет.

«Ну, и баба озорная, что будешь делать с ней, — думал Иван, цепля лучину. — Тут, господи, дыхнуть неколи, а тут она. И ничего не

поделаешь: пойдет жалиться».

Отделавшись и бормоча себе под нос, что «человека совсем заездили», Иван отправился в сарай, где стояла корова начальника. Она меланхолически пережевывала жвачку и равнодушно глядела на вошедшего Ивана.

— Но, идол! — крикнул Иван. — Поворачивайся, сенной мешок! — И он со злобой ударил железной лопатой корову. Та покорно отодвинулась, поднимая ушибленную ногу. Иван начал работать, с ожесточением кидая навоз.

— И откуда навозу с нее столько! Только и знает что жрет и пакостит; кабы столько молока давала, а то даром сено жрет. Да меня озолоти — не стал бы держать такую животи-ну. Да и начальник... Мало, что ли, молока на базаре? — пошел да купил, были бы денежки. А то эдакую прорву держи, она тебя проест всего. Гляди — одного навозу наворочала сколько! У-у, тварь, чтоб те околеть!

И он опять с сердцем ткнул лопатой ни в чем не повинную корову, которая решительно не знала, чем заслужила такую немилость, и все жалась к стенке.

Ивана прошиб пот. Он чувствовал страшное утомление и то, что дольше не в состоянии работать; но надо было кончать.

— Кончу, — потить выпить рюмку с устатку, а то не вытянешь до смены.

Наконец навоз был убран. Иван, толкнув еще раза два корову, поставил лопату в угол и пошел на станцию.

### III

**В** буфете за столом грелись чаем кондуктора пришедшего товарного поезда. Иван подошел к стойке, взял стаканчик водки, выпил, крякнул, закусил кусочком вонючей рыбы и купил сороковку, чтобы дома встретить праздник честь честью. Сунув сороковку в карман, он отправился в будку, захватил ключ, молоток, чтобы осмотреть путь перед приходом почтового, и остановился в раздумье: если таскать с собой вино, то можно еще как-нибудь разбить драгоценную бутылку, если же оставить в будке, сменщик явится, непременно утащит водку: уж у него нюх на этот счет собачий. «Сбегаю домой, отнесу», — решил Иван и, торопливо сбежав с полотна,

направился к маленькой хатенке саженях в тридцати от полотна, в которой приветливо светилося маленькое окошечко.

Иван заглянул в него: крохотная комнатка с огромной печью, всегда такая грязная, неуютная, заставленная горшками, кадучечками, всяким домашним хламом, теперь была прибрана, глиняный пол чисто смазан, стены выбелены, а полкомнаты занимавшая печь вся разрисована синими петухами. В переднем углу, под образами, стол был накрыт грубой, но чистой скатертью. На образе теплился восковой огарок, трепетно освещая низкий потолок, синих петухов и русые головки ребятишек. Их было у Ивана восемь человек; один качался еще в подвешенной к потолку «зыбке».

Ребятишки, видимо, с нетерпением ожидали тятку, чтоб приступить к ужину, несмотря на то что сон клонил их головенки. И эти синие петухи, и выбеленные стены, и скатерть на столе — все производило на Ивана впечатление отдыха и покоя, которые ждут его.

Он постучался в окно. Вышла хозяйка.

— Кто тут? — проговорила она, всматриваясь при слабом мерцании звезд.

— Возьми, во захватил, в будке-то упрут.

— Али с дежурства?

— Нет, сейчас путь иду оглядеть.

— Долго не сиди после дежурства, ребяташки спать хотят.

— Через полчаса буду: зараз почтовый придет, — провожу — и домой.

Иван вбежал опять на полотно и, освещив фонарем и постукивая молоточком, пошел по рельсам, изредка подвинчивая ненадежные гайки. Он осмотрел стрелки, попробовал тяжи — все было в порядке — и направился к станции.

## IV

Огромный, с двумя паровозами, почтовый поезд тяжело и с грохотом катился по рельсам. Снежные вихри крутились из-под колес, и пар, клубами вырываясь из двух труб его локомотивов, далеко стлался белой пеленой. Весь поезд был битком набит публикой. Кондуктора ходили по вагонам, отбирая билеты. Впереди грубо зазвучал паровозный свисток.

Пассажиры снимали с полок чемоданы, узлы, увязывали подушки. Поезд стал задерживать ход. Тормоза со скрежетом зажимались к колесам.

Иван, как только поезд подошел к платформе, по знаку начальника дал первый звонок, — здесь остановка была всего на две минуты, — бросился в багажный вагон и стал вытаскивать багаж высаживающихся здесь пассажиров.

Он изо всех сил раскидывал чемоданы, сундуки, тюки, разыскивая нужные номера. Когда багаж был выгружен, Иван повез его на тележке в багажную.

— Иван, какого же ты черта?! Второй звонок, тебе говорят...

Небольшой колокол отчетливо и звонко ударил два раза.

— Беги, отдай разрешение!

Стрелочник схватил разрешение и пустился по платформе к паровозу, толкая публику. Поезд был громадный, и надо было почти весь его пробежать. Машинист, перегнувшись с своей площадки, взял у запыхавшегося Ивана путевую.

— Третий!.. — Чувствуя, как колотится у него сердце, кинулся опять к звонку и ударил три раза. Свистнул обер-кондукторский свисток, паровоз отозвался сердито и нехотя, и поезд, раздвигаясь и визжа железом, стал трогаться. Платформа пошла назад, а вагоны, раскачиваясь, мерно постукивая колесами на стыках, покатались по рельсам друг за другом.

Иван с облегчением вздохнул. Он дежурит через день и каждый раз в десять часов ночи точно так же надрывается, выгружая багаж, точно так же ему нужно и давать звонки, и передавать разрешение машинисту, и бежать

открывать семафор, то есть каждый раз приходится исполнять обязанности, которые должны быть распределены по крайней мере между двумя человеками, и это в продолжение двадцати двух лет!

Эти двадцать два года съели его. Ему казалось, что он только и умеет делать и всю жизнь только и умел делать — это бегать по стрелкам, подавать сигналы, давать звонки, зажигать лампы. Работа эта казалась наиболее легкой, подходящей, благодарной. Ему казалось, что, кроме нее, он больше ни на что не способен, не годен. У него было восемь детей, и он получал пятнадцать рублей в месяц. Потому-то, когда он бегал по стрелкам, пропускал поезда, ставил фонари, чистил из-под коровы, подметал платформу, он носил с собою одну и ту же мысль, одно и то же ощущение: страх, не сделал ли он чего-нибудь «не так», не сделал ли он упущения, не вышло бы чего-нибудь скверного.

***...Иван кинулся на боковой путь, по которому в этот момент шел дежурный паровоз.***



Двадцать два года сделали свое дело, и ему никогда не приходило в голову, что он мог бы и иначе устроиться. Вне железнодорожного порядка дня, вне станции, путей, платформы он себя не представлял. В десять часов вечера с отходом почтового поезда кончалось его дежурство, и только тогда вместе с глубоким вздохом облегчения с него сваливалась давящая тяжесть страха и ожиданий, как бы чего не случилось.

Так и сегодня. Когда поезд прошел платформу, Иван, испытывая необыкновенную слабость, которая всегда охватывала его по окончании дежурства, и чувствуя в то же время, как сваливается с него тяжесть, поднял руку, чтобы перекреститься, и... замер. Страшная мысль прожгла его: *он забыл перекинуть рычаг стрелки* на главный путь по проходе товарного поезда, на который теперь несся почтовый. Весь страх, все отчаяние ответственности охватили его. Без шапки, с побелевшим лицом, кинулся он бежать туда, где, удаляясь, светился красный фонарь уходившего поезда.

Поздно!.. Вот, вот раздастся оглушитель-

ный треск, и к небу в белесоватом ночном сумраке подымется над полотном темная громада, неподвижная и зловещая, и нечеловеческие бессмысленные крики наполнят морозную, зимнюю ночь.

Чтоб не слышать их, Иван кинулся на боковой путь, по которому в этот момент шел дежурный паровоз. Задыхаясь, добежал он и бросился на ярко освещенные рефлекторами приближавшегося паровоза рельсы.

В эти несколько секунд вся его жизнь, точно озаренная отблеском, предстала пред ним, законченная сегодняшним днем: дежурство... платформа... лампы, дрова... корова... печь с синими петухами... русые головенки и... роковая стрелка!..

В этот момент страшного напряжения вдруг с поразительной отчетливостью представилось, как он перекинул стрелку на главный путь... Боже мой, ведь он *правильно ее поставил!*.. Он спутал, и почтовый поезд благополучно шел по главному пути...

Иван отчаянно закричал и сделал нечеловеческое усилие скатиться с рельсов, но в эту самую секунду накатившийся паровоз обру-

шился на него всей массой железа, стали, раскаленного угля и... перервал ему дыхание.

## V

Машинист дежурного паровоза стоял на площадке, поглядывая на бежавшие навстречу и ярко освещенные рельсы. Мелькнула одна стрелка, другая. Он взялся за свисток и несколько раз дернул. Застучали колеса на переходе, захлопали, мелькнул зеленый огонь, будка вынырнула из темноты и опять пропала. Вдруг он, как сумасшедший, бросился к регулятору и закричал не своим голосом: «Тормоз!» А уже помощник сам изо всех сил тормозил, отчаянно налегая на рукоять.

— Господи, никак человека зарезало!..

Заскрипели тормозные колодки, завизжали колеса, пар рванулся в открытые клапаны. Из-под паровоза донесся нечеловеческий вопль: «Ай, бат...» — и оборвался. Паровоз пробежал еще с сажень, остановился.

Соскочили машинист с помощником на землю — ничего не видать: сечет крупой в темноте ветер очи. Бросился помощник за фонарем, осветил им, видит — лежат поодаль

вдоль рельса две отрезанные ступни, а за колесами под паровозом виднеется человек.

— Ведь зарезало, царица небесная!..

Побежал помощник на станцию, сбежался народ. Отодвинули паровоз назад. Кто-то наклонился над лежавшим:

— Помер!

Все смолкли, сняли шапки, перекрестились.

Иван неподвижно лежал между рельсов с насильственно повернутой набок головой, с закатившимися глазами. Кольцо фонаря, надетое на правую руку, сорвало у кисти кожу и завернуло ее, как кровавый рукав, к самому плечу; сама рука была вывернута в плече и закинута за голову, а ребра левого бока глубоко вдавлены в грудь.

Среди собравшихся слышался сдержанный, подавленный говор: расспрашивали, как случилось несчастье, не был ли покойник выпивши, кричал ли, как на него набежала машина. Никто ничего не мог толком ответить.

— Только это я выглянул, — говорил изменившимся от волнения голосом машинист

окружившей его кучке, — вижу, огни на стрелке засветились, думаю — стану сейчас; только что хотел было повернуться, гляжу, а он тут, у самого фонаря... Господи!.. кинулся я... а он как закричи-ит... потемнело у меня, знаю, что тут вот под паровозом человек, и ничего не могу сделать... — Голос у машиниста оборвался.

Ветер набежал, зашумел и посыпал на мертвеца и всех стоявших белой крупой. Все замолчали. В паровозе угрожающе клокотал сдавленный пар. Машинист поднялся на площадку и повернул какую-то ручку: пар с бешенством вырвался низом, окутав всех тепловатой сыростью.

— А ведь шел, не думал. Должно, к стрелке шел. Он его тут и накрыл.

— Рожок весь так и свернуло, а самого, видно, зацепило за фонарь и поволокло, а то бы пополам перерезало. На минуту опять водворилось молчание. Ветер снова зашумел по насыпи и посыпал крупой.

— Послали за начальником?

— Сейчас пошли.

— Баба теперича завоет — с восьмерыми

осталась.

От станции показались огни и темные силуэты людей. Подошел начальник. Собравшаяся кучка расступилась. Он взял у служащего фонарь, направил на покойника: на мгновение свет мелькнул по сурово-сосредоточенным лицам стоявших, по рельсам, по шпалам и упал на искаженное страданием лицо убитого с неподвижными белками закатившихся глаз. Начальник слегка повернулся и велел убрать тело в пустой вагон.

Принесли рогожу; подняли труп; он стал коченеть. Вывернутая рука бессильно упала и повисла.

— Чего же, надо всего... — сдержанно проговорил один из подымавших, как будто не договаривая.

— Вон где, — указал в темноте помощник.

Кто-то отделился с фонарем, прошел несколько шагов вдоль рельсов; видно было, как он нагнулся и поднял что-то. Вернувшись, он бережно положил на рогожу отрезанные ступни.

Тело отнесли и положили в пустой вагон, одиноко стоявший на запасном пути.

В составленном на месте происшествия протоколе значилось: «Ноября такого-то числа на станции такой-то железной дороги, шедшим в депо дежурным паровозом № 5-й был задавлен, по собственной своей неосторожности, дежурный стрелочник, кр. Орловской губ., Демьяновской вол., дер. Улино, Иван Герасимов Пелипасов».

## VI

Было часов десять утра. По платформе гуляла публика. Ожидался поезд; уже было получено по телеграфу извещение, что он вышел со станции. Пассажиры повыбрались из зал вокзала и расположились с узелками, чемоданами и корзинами на платформе у самого полотна, то и дело посматривая в ту сторону, откуда ожидался поезд. Жандармы, позвякивая шпорами, осторожно и подозрительно поглядывали вокруг. Раздвигая публику, гулко прокатили по асфальту багажную тележку. Торопливо пробежал смазчик с длинным молотком и лейкой, несмотря на холод — в синей замасленной блузе без пояса. Вышел начальник, полный господин, в красной фураж-

ке и золотых очках, слегка приподняв голову и с видом человека, привыкшего отдавать приказания.

В это время какая-то женщина пробиравась между публикой, постоянно оглядываясь; она, видимо, искала кого-то. Лицо и глаза ее были красны, на редкие ресницы, сиротливо торчавшие на подпухших и как будто слегка вывернутых веках, набегали слезы. Она старалась удержать их, непрерывно вытирала и постоянно сморкалась в угол головного платка. Но как только она увидела начальника, слезы неудержимо закапали из глаз. Она подошла к нему и, держа у подергивавшихся губ зажатый в руке конец платка, хотела что-то сказать, но не выдержала и вдруг неожиданно заголосила на всю станцию, так что все невольно оглянулись. Начальник неприятно поморщился и слегка нахмурил брови:

— Что такое? Что ты, матушка?

— Ба... ба... ро-ди-мый, за... за-да...ви-ло... за... да-ви-ло...

Кругом столпились, вытягивая один из-за другого шеи и стараясь взглянуть на начальника и на голосившую бабу.

— Чего она кричит? — спрашивали друг у друга.

— Вчерась кого-то убило тут, рассказывают.

«Чистая» публика держалась в стороне, поглядывая издали на происходившее.

— Да что такое?

— Жена умершего вчера стрелочника, — объяснил начальнику высокий артельщик с бляхой на груди.

— Так чего же тебе, матушка?

— Ро-ди-мый мой... куды жа те-пе-ри-ча? не ду-ма-ли, не га-да-ли... приходят, рассказывают — убило тво-во... убило... Вчерась еще с дежурства забежал... при-ду, го-во-рит... при-ду... о-ооо... — Женщина не выдержала: как только стала рассказывать о том, что муж говорил «приду», она истерически зарыдала, ухватившись обеими руками за тощую грудь.

— Иди за мной! — приказал начальник, направившись в вокзал и желая увести женщину от публики.

Она пошла за ним, наклонив голову набок и все так же судорожно рыдая.

— Так ты, что же, хочешь, чтобы тебе помогли?

— Батюшка, куды же с сиротками теперича — исть нечего... Нельзя ли вашей милости от железной дороги чего-нибудь, помощи какой?

Начальник полез в карман, достал бумажник и подал женщине три рубля.

— Это вот от меня, понимаешь, это я даю, как частный человек, все равно как если бы кто другой дал; а управление дороги ничего не выдаст: оно не отвечает за такие случаи, — твой муж был убит по собственной неосторожности. Неосторожен был, понимаешь? Железная дорога не отвечает в таких случаях.

— Куды жа нам деться?.. пенсию, сказывают, можно охлопотать, а то с голоду помереть с ребятами... Христом богом прошу, не оставьте вашей милостью... — И женщина, нагнувшись, достала рукой до земли.

— Да говорят тебе — не отвечает в таких случаях железная дорога. Послушай-ка, — обратился начальник к проходившему кондуктору, — растолкуй ей, что управление ничего не выдаст. Может, конечно, повести дело судебным порядком, но толка никакого не будет, только деньги и время даром уйдет.

Начальник вышел. Женщина стояла на одном месте, вздрагивая от душивших ее рыданий и непрерывно вытирая глаза и красное мокрое лицо концом платка.

— Ну, вот что, Алексеевна, иди теперь с богом. Начальник сказал «нельзя» — значит, нельзя. Сколько можно было, помог, добрый человек, а дорога не отвечает. Это если бы по ее вине, можно бы высудить, а так ничего не будет. Ну, иди, иди, Алексеевна, а то поезд сейчас придет.

Она тихонько пошла. Публика, стоявшая на платформе, видела, как она прошла по полотну, и один из жандармов крикнул: «Проходи, проходи — поезд сейчас»; потом спустилась с насыпи. Некоторое время красный платок ее мелькал из-за оголенных деревьев станционного садика и наконец пропал за последними деревьями.

# ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ

**В** лесу стояла та особенная тишина, которая бывает только осенью. Неподвижно висели мохнатые ветви, не качалась ни одна вершина, не слышалось ничьих шагов, лес стоял молча, задумчиво, прислушиваясь к своей собственной вековой думе.

И когда, отломившись от родного дерева, мертвая сухая веточка падала, переворачиваясь и цепляясь пожелтевшими иглами за живые, зеленые, чуть вздрагивающие ветви, было далеко слышно.

Вверху не было видно печального северного неба, хмурою ратью закрывала его густая хвоя, и, как колонны, могуче вздымались вверх красные стволы вековых сосен. И покой безлюдья царил, точно под огромным темным сводом меж молчаливых колонн, над мягкими коврами прошлогодних игл.

Между стволами, которые сливались в сплошную красную стену, мелькало что-то живое. Кто-то беззвучно шел, и прошлогодняя хвоя, толсто застилавшая землю, мягко поглощала шаги. Сосны расступались и сзади опять

смыкались в сплошную красную стену. Но когда нога попадала в тонко натянутую ледком лужицу, далеко, испуганно нарушая тишину, раздавался звонкий треск.

Мальчик лет двенадцати, туго подпоясанный узким ремнем, за которым торчал топор, в огромных, должно быть отцовских, сапогах, наклонялся, приседал на корточки, что-то цеплял за ветки и стволы, и, когда шел дальше, позади на земле оставался целый ряд волосяных петель, и в них краснели прицепленные ягоды.

Мальчик ставил силки, внимательно запоминая местность в лесном лабиринте.

Молчаливый лесной сумрак посветлел в одной стороне, и меж деревьев блеснул водный простор. С крутого песчаного берега открылось озеро. Необозримо уходило оно, отодвинув леса до синего горизонта, и изумрудно-зеленые острова бесчисленными стаями покрывали светлое лицо его. Узкими протоками оно тянулось в другие соседние озера, на сотни верст растянувшиеся по угрюмому, суровому, молчаливому краю, с одной стороны которого катило тяжелые холодные вол-

ны Белое море, с другой — морозной мглой дышали ледяные поля Северного океана.

Бесчисленные стада уток, гусей, лебедей, нырков и всякой пролетной водяной и болотной птицы с криком, шумом и гамом возились на воде, шумно подымались густыми, чернеющими тучами, заслоняя и воду, и далеко синеющий лес, и изумрудные острова, и далеко тянулись вереницами.

Мальчик с минуту постоял на берегу и пронзительно два раза свистнул. Озеро ожило. Как будто множество спрятавшихся людей засвистало и отозвалось со всех сторон, и над водой, все ослабляясь, понеслись замирающие тонкие звуки. Птица рванулась, взрывая воду, шумом заглушая умирающее эхо.

**...мальчик, крепко упираясь посинелыми от холода ногами, бурлил шестом...**

— Стало быть, не пришел, — проговорил мальчик, вынул из-за пояса топор и стал рубить деревья, сваливая в воду возле берега.

Он работал ловко и быстро; сочные щепы летели из-под топора, и эхо, не умолкая, с раз-



ных сторон повторяло удары.

— А-ах, холодная... — проговорил мальчик, пожимаясь, когда, скинув сапоги и засучив шаровары, полез в воду, которая, как ножом, резала острым холодом.

И, торопливо стаскивая с обрубленными ветвями стволы, стал вязать гибким тальником плот. Через минуту стянутые вместе бревна неуклюже высывались из водного зеркала.

Мальчуган перенес на плот пук волосяных силков и суму с хлебом, уперся шестом, и плот, сдвинувшись тихонько, поплыл от берега. Длинные травы колебались и тянулись в прозрачно холодной воде, цепляясь и обвиваясь вокруг шеста. Птицы с неумолкаемым шумом без перерыва подымались с озера, как будто сама вода рождала их из глубины, и все больше и больше чернеющая косая туча их заслоняла и лес, и небо, и синеющую даль.

Далеко отошел берег, и кругом необозримо расстилалось серебряное зеркало с висевшими в глубине его облаками, печальным серым небом и опрокинутыми прибрежными лесами. Шест перестал доставать дно, которое

далеко внизу виднелось сквозь чистую, как слеза, воду, и мальчик, крепко упираясь посинелыми от холода ногами, бурлил шестом, работая, как веслом.

Низкое холодное солнце передвинулось к самому лесу, когда плот ткнулся в берег острова. Мальчик обулся и пошел в лес.

На стволах сосен белели зарубки, которые он сделал несколько дней назад. Лес был глухой, угрюмый, без тропок, без следа человеческого, но мальчик шел легко и уверенно, поглядывая на белые отметины.

В чаще возле кустарника неподвижно висела птица, свесив крылья и вытянув вверх шею. Тонкая волосяная петля, захлестнутая за ветку, туго стягивала шею.

Мальчик высвободил мертвую птицу и бросил в мешок. По мере того как он шел, мешок наполнялся птицами, которых он вынимал из силков.

Между кустарниками быстро мелькнуло и пропало пушисто-красное. Мальчик бросился туда. На ветке неподвижно висела полуобъеденная птица.

— Ах-х, ты!.. — сердито проговорил маль-

чик, осматривая объединенную птицу и лисьи следы под деревом. — Ладно, ужо приготовлю тебе гостинца.

Все остальные силки оказались пустыми или в них торчали одни объединенные головы и шеи.

Надо было собираться назад. Солнце село. Мрачно и угрюмо стояли сосны. Стояла неподвижная, полная таинственности тишина. Мальчик торопился выбраться к озеру, но лес упорно держал его, и все глуше и темнее становилось кругом. Тяжелый мешок тянул плечи, под ногами испуганно хрустели сухие веточки, и потом опять сапоги беззвучно-мягко ступали по хвое, и угрожающе сгущалась темнота, сливая деревья в одну таинственную сплошную массу.

«Как бы не заблудиться», — тревожно мелькнуло в голове, и он напряженно всматривался, но белевших прежде зарубок уже не было видно.

Наконец темнота слегка раздвинулась, и темным блеском едва блеснула у берега вода. Мальчик прислушался: над потонувшим в темноте озером стояла такая же мертвая ти-

шина, как и в лесу, только дышало оно мраком, холодом и сыростью.

Он стал ходить по берегу, разыскивая плот, но везде был все тот же пустынный, молчаливый берег, так же едва поблескивала черная вода, и стояла дышавшая холодом и сыростью тишина.

— Ок-казия!.. Что будешь делать!..

Мальчик прошел немного в лес, стал на колени, нащупал вылезавший из земли смолистый корень, вырубил его, высек кремнем огня, зажег корень и помахал, чтоб разгорелся.

Багровое пламя, струясь и колеблясь, дымно бежало, и в лесу трепетно забегали тени, и в багрово вспыхнувшей воде отразились покрасневшие вершины сосен.

Недалеко показался из красной воды угол плота. Мальчик загасил огонь. И разом водворилась крошечная, непроглядная, чернильная тьма. Мальчик сложил на плот мешок с птицами, с провизией, обгоревший корень и оттолкнулся шестом.

Шест уходил все глубже и глубже, переставая доставать дно. Бурлила вода. Плот тихо и беззвучно подвигался вперед среди немой ти-

шины, среди непроглядного мрака.

Словно мертвое, заколдованное царство простиралось вокруг на сотни верст, и не слышно было человеческого голоса, ни всплеска рыбы, ни писка птиц. Шест бурлил, не доставая дна, и пенил невидимую воду, и тихонько колыхался плот, заброшенный и одинокий среди пустынного водного простора, среди холодного ночного мрака.

— Что ж это, никак к берегу не прибьешь-ся...

Мальчик тревожно стер пот со лба и оглянулся: даже краев плота не видно. Поднял голову — та же густая, непроницаемая, молчаливая темь, ни одной звезды.

— Аххх ты, бож-жа мой!.. — хлопнул себя по бедрам, поплеывая на руки, и опять принялся работать шестом.

Время уходило, стали ныть руки и плечи, а кругом все та же молчащая холодная ночь, все так же неизвестно где блуждающий плот.

И это огромное молчание холодной мертвой темноты стало заползать в сердце тоской и отчаянием. Хоть бы крик, хоть бы всплеск. Ни одного живого существа.

Теперь он уже не представлял себе, где берег, к которому он ехал, и где тот, от которого отчалил. Все одинаково кругом безмолвно-мертво. Работал наугад, лишь бы не остаться без дела и не отдаться отчаянию.

Бревна от постоянной работы колыхались и стали расходиться под ногами. Наскоро связанный плот готов был развалиться. Мальчик с отчаянием работал, каждую минуту ожидая, что, как ключ, пойдет между высвободившимися бревнами в холодную воду и ляжет на далекое мертвое дно.

Он сел на корточки, положил шест и... заплакал. Заплакал беспомощными детскими слезами, потому что в этом огромном черном погребе не было выхода.

— Дядька-а Силанти-ий! — закричал он тонким, детским голосом.

Тысячу раз повторила ночная темнота: «...а-а-нти-и-ий...»

В ту же секунду, заглушая умирающее эхо, зашумели тысячи невидимых крыл. Ночная тишина заполнилась непрерывающимся полетом. Мальчик с радостью прислушался: это были первые звуки, нарушившие давившее

мертвое молчание.

Он торопливо высек огонь и зажег остаток полуобгорелого смолистого корня. Багровое пламя разом оттеснило темноту и легло светлым кругом, но ничего не открыло, кроме воды. Только упавший в глубину красный свет обманчиво озарил далекое дно и сонно дремлющих рыб.

Куда плыть? Где берег?

Остаток корня, трещина и капая кипящей смолой, стал жечь пальцы. Мальчик бросил. Зашипев, мгновенно погас огонь. Темнота мертво сомкнулась со всех сторон. Шум крыльев смолк, и снова водворилось в неподвижной темноте неподвижное, мертвое молчание. Но теперь не было так страшно, — и на воде и в воде было множество живых существ.

Он опять стал наугад работать веслом, осторожно упираясь, чтоб не нарушить связей в бревнах плота, и вдруг приостановился и чутко прислушался: среди темноты стояла та же тишина, но почудилось легкое, почти неуловимое дуновение проснувшегося среди ночи ветерка.

Торопливо и обрадованно мальчик послушал палец и, подняв, стал медленно поворачивать. С той стороны, откуда неуловимо тянул ветерок, в пальце почувствовалось ощущение холода. Быстро схватив шест, стал гнать плот по направлению ветерка. Сердце радостно билось, — теперь он уже не будет кружить по озеру.

Вот о дно стукнул шест. Становилось мельче и мельче. Где-то недалеко берег.

Мальчик изо всех сил налег на шест, но под ногами заскрипели бревна, лопнули связи, плот разошелся, и холодная густая, как кисель, вода охватила по пояс.

В первую секундухватило дыхание. Мучительно-холодная острая вода вливалась за сапоги, за шаровары, и взмокшая рубаха липла к телу. Зубы стучали неудержимой мелкой дрожью. Мальчик схватил сумку с провизией, поднял над головой, прихватил мешок с птицами к поясу и, щупая ногой, стал пробираться среди холодной крошечной темноты. Мельчало. Уже ниже колен пенится и бурлит вода. Наконец — берег.

Он дрожал как лист, и ноги сводило судоро-

рогой. Не теряя времени, наломал еловых и сосновых ветвей, высек огня, и костер весело запылал, бросая багровый отсвет на воду, на деревья, на печально покачивающиеся, расплывшиеся бревна плота, и тени трепетали и прыгали между деревьями. Пар валил от мокрого платья.

В лесу кто-то ходил. Под тяжелыми ступнями ломались ветви, трещал валежник, и чье-то сердитое урчание недовольно нарушало ночной покой.

— Шатун... ахх, ты... Носит тебя нелегкая!.. — И мальчик прислушивался к треску ломаемых медведем веток, усердно подбрасывая в разгоревшийся костер, чтоб отогнать непрошеного гостя.

Огонь огромного костра бушевал, пламя торопливо бежало, и в багровых просветах леса то тут, то там чудились маленькие злые глазки, вытянутая морда, прижатые уши.

Мальчик вложил два пальца в рот, как-то особенно пронзительно свистнул и загоготал:

— О-го-го-го!..

«О-о-о-о-о!» — далеко покатилося и отозвалось вместе со свистом по озеру, и опять бес-

численно зашумели тысячи крыл, и кто-то ходил по лесу, трещал валежник, и чудилось чье-то сердитое урчание.

Мальчик поворачивал к огню то спину, то бока, то ноги, пока от них не перестал идти пар. Потом пожевал краюшку хлеба, примостился у огня и... стало ему казаться — из лесу вышел медведь, оскалил зубы, расхохотался и стал есть в мешке наловленных тетерок. Поел тетерок и принялся за мальчиковы ноги, отъел ноги, чихнул, отер лапой морду, сел на плот и поплыл по озеру. Плывет по озеру, смотрит на него мальчик, а это не медведь, а дядя Силантий. И будто стоит дядя Силантий и трясет его:

— Эй, вставай, Митюха! Разоспался... Солнце-то где...

Раскрыл Митя глаза, вскочил, видит — солнце поднялось над соснами, залило и лес, и озеро, и острова. А над озером стоит неумолкаемый гам, плеск, стон, и стаи перелетной птицы черными вереницами носятся над водой, и возле чуть дышит полупотухший костер.

— А я думал — медведь.

— Какой медведь?

— Да ночью шатун все шатался по лесу... Я было пропал на озере вчера: опознался, темь, не видать, куда плыть. Кабы не ветерок, пропал бы: плот-то подо мной расселся.

— Ночью отчаливаешь, огонь на берегу зажигай, он и будет признавать направление.

— Ах я дурак!.. И верно... А я зажег смолистый корень да потушил... Ну, темь, хоть глаз выколи, не видать, куда ехать.

Они забрали птицу, заткнули за пояс топоры и отправились домой.

# МИШКА-УПЫРЬ

Как только Мишка-упырь протер глаза, первое был гудок, ровный, настойчивый, непрерывно гудящий в утренней темноте, и первой проснувшейся мыслью было сейчас же незаметно выскользнуть из дому. Но, чтобы не обратить на себя внимания, неподвижно лежал под своими лохмотьями.

В углах, в окнах еще стоит редящая темнота. Слышен надрывающийся отцовский кашель; смутно чернеет его фигура над лоханкой, — нагнувшись, умывается. По тому, как гремит кружкой, кряхтит и кашляет, Мишка чувствует, что отец зол, не выспался.

Мать торопливо готовит поесть отцу, просыпаются ребятишки, и в заполненной духовой комнате — зевота, бормотанье, всхлипывание, плач маленьких детей.

Отец ушел, но гудок все так же упорно стоит за обозначившимися переплетами посветлевших окон. Кажется, ему и конца не будет.

— Ну, ты... барин!.. Долго будешь вылеживаться?..

Больно раздаются два шлепка, и жесткая

рука матери срывает с Мишки лохмотья. Он подымается из своего угла, скребет голову и тянет умышленно гнусавым, плачущим голосом:

— Ну, чего бьешься?.. Гы-ы-ы!..

Мать хлопчет, непрерывно бранясь и крича на ребятишек. Мишка размазывает из кружки воду по лицу, вытирается рукавом рубашки и, как волчонок, бросает быстрый взгляд на дверь.

— И не думай, и выкинь из головы! — кричит мать злым больным голосом. — Ежели уйдешь, и не приходи, запорю, до смерти забью...

Мишка со вздохом скребет голову. Уйдет мать на поденщину, а ему возиться с ребятишками, глядеть за печкой, за борщом, натаскать воды, подмести комнату, — так каждый день.

И он стал выгребать золу из печки, а сам напряженно, ни на минуту не ослабляя острого внимания, глядит на дверь.

— Пойди принеси щепы.

Мишка бросается, — щепы за дверью.

Смутно темнея и суживаясь, уходит в чер-

неющую даль молчаливый коридор со множеством дверей. Скупно пропуская свет, насупленно глядят запыленные, грязные окна. На веревочках развешано рваное белье; темнеют разбитые ящики с разным хламом.

Слабый, старчески хрипящий кашель странно вяжется с этим угрюмым, темным молчанием, настойчиво и без отдыха нарушая его. Старушка, качая головой, шаркая ногами, идет с ведерком, должно быть, за водой. Она тихо идет мимо молчаливых дверей, — все на работе, и в квартирах только старый да малый, — и долго ее кашель надрывается наперекор прислушивающемуся молчанию.

Мишка смотрит, как тонет она неверно и колеблясь во мгле пропадающего коридора, потом набирает щепы, перегибаясь назад, идет, берется за ручку двери...

Кто-то невидимый, смеющийся, смелый и веселый шепчет, тянет в коридор и шепчет. Мишка не может разобрать, в ушах стоит: «Забью... запорю до смерти...»

Он отворачивается от зовущих скудным светом окон, берется за ручку, тянет дверь и вдруг бросает на пол с упреком белеющую

цепу и что есть духу пускается по коридору.

Одна из бесчисленных дверей отворяется, выходит какой-то человек и сердито идет по коридору, но на бегущего во весь дух мальчика не обращает внимания.

Окно в конце коридора все ближе, яснее. Вот и лестница, и, стиснув зубы, рискуя сломить шею, Мишка прыгает через две-три ступени, пока темный пролет лестницы уже весь над ним, и с визгом открывается дверь на улицу.

Серое, холодное, сырое утро.

Чернеет кое-где грязный, не успевший потаять снег. Гудок смолк. На улице никого.

Мишка стоит, поеживаясь. Знает, мать не погонится за ним, — все равно не поймает. И, подшмурыгивая носом, осторожно ступает по недавно протоптанном среди весенней грязи тропкам.

Дома узко и тесно сдвинулись, облупленные, хмурые. Угрюмо глядят слепые окна, зияя разбитыми стеклами, заткнутые тряпками, заклеенные грязной бумагой.

Мишка идет, соображая. Гул, смутный и тяжелый, все вырастает, тяжело колеблется. А

когда переулочек обрывается, немолкаемый грохот бешено рвется из громадных, занесенных копотью окон почернелого корпуса. Дрожат стены, звенят стекла.

Все черно: земля, ограда, двор, ворота. Из гигантских почернелых труб зимой и летом, весной и осенью валит черный дым, мешаясь с низкими тучами. Даже деревья стоят чахлые, черные, а не успевший местами потаять снег — как грязь.

Люди ходят с хмурыми, темными лицами, — оттого ли, что на все садится копоть, или оттого, что они никогда не улыбаются.

А не улыбаются, вероятно оттого, что на фабрике стоит ни на минуту не слабеющий, тяжело грохочущий гул, все подавляя — смех, и говор, и голоса, люди объясняются знаками, и на лицах непреходящая усталость.

Тысячи веретен, мелькая в безумном кружении, гудят все ту же нескончаемую воющую песню. Тысячи челноков снуют взад и вперед, и свист и чоканье несутся в буре звуков, а сотни колоссальных передаточных ремней, тяжело колеблясь и гоня темный ветер, неуловимо несутся по шкивам с злове-

щим шепотом и бормотаньем, от которого трясутся стены и мучительно дрожит пол. Темные фигуры среди машин, станков, среди грохота, свиста, визга, среди безумно крутящейся пыли, среди неумолкаемого беснования...

Гул несется от фабрики и тяжело стоит над всем околотком, как стоит над ним вечная дымная мгла, и солнце глядит тусклое и медное.

Все что-то соображая, Мишка подошел к воротам и весь, как молодой волчонок, оцетинился, сжался, точно приготовился к прыжку.

На воротах висел огромный замок, а около полуотворенной калиточки неподвижно сидел сторож — Каменная Баба, как его звали на фабрике.

Он сидел, как каменное изваяние, в том самом архалуке, в котором сидел ночь. Сколько рабочих ни перебивало на фабрике, они всегда его видели неподвижно сидящим у калиточки. Могли остановиться все машины, стореть фабрика, порости травой опустелый двор, а Каменная Баба по-прежнему невозму-

тимо сидел бы у полупритворенной калиточки. Забыл он о своей деревне, семьи у него не было, а была маленькая каморочка у самых ворот. Он как следует даже не знал, как и что работали на фабрике, а одно только видел — калитку, через которую никто не должен был проходить без пропуска от конторы.

Мишка стал перед ним, заложив два пальца в рот, и свистнул так, что даже фабричный гул, неумолкаемо грохотавший из окон, не успел поглотить, но Каменная Баба головы не повернул.

— Али тебе шерстью уши заложило?

Все тот же ревуций, победный, грохочущий гул.

Мишка вдруг сел на корточки в двух шагах и, умильно глядя горевшими, как у волчонка, глазами, заговорил, крепко нажимая голосом, чтоб было слышно:

— Дяденька, пусти... вот те Христос... провалиться мне скрозь землю, матка послала к тятьке.

Все так же грохотали занесенные копотью огромные окна.

— Лопни мои глаза!.. Чтоб мне завтрашне-

го дня не дожидаться!.. Чтоб с меня шкура слезла!.. Чтоб меня вывернуло наизнанку...

Маленький и подвижный, как комочек, он извивался, клялся, божился, а Каменная Баба так же неподвижно и молча сидел.

— ...чтоб те ни дна, ни крыши... чтоб те собаки ноги отъели... чтоб у тебя пузо лопнуло да вытекло... чтоб...

Баба поднялся, огромный, как бегемот, и тяжелый верблюжий архалук падал неуклюжими складками, шагнул и нагнулся, хватая шершавой, заскорузлой рукой за ухо, но Мишка с визгом откатился, вскочил, а Баба опять неподвижно сидел, как каменный.

— Истукан!.. Идол проклятый!.. Морда каменная!.. Воробьи на тебе гнезда вьют, — всю морду опакостили... Полкан цепной... ну-ка, загавкай... загавкай, загавкай... Ты умеешь...

Мишка вертелся перед ним, как вьюн, бросая самые замысловатые обидные прозвища.

Баба поднялся, скинул и аккуратно сложил на скамеечке архалук. Мишка мгновенно пустился бежать. Он бежал, сколько позволяли ноги, стиснув зубы, наклонив голову, с раздувшимися ноздрями, не оглядываясь, не раз-

бирая луж и грязи, бежал вдоль закопченной ограды, и неумолкаемо ревивший гул метался над ним. Клубы дыма черно расплывались мглой. И нельзя было разобрать: не то это облака висели, седые, одинаковые, не то вечная, никогда не проходящая дымная мгла. Завернул за угол, потом еще — и остановился.

Сразу стало скучно и вяло. Никого. Из-под ограды черная вонючая жидкость, жирно блестя, полосами стекала под обрыв... Под обрывом сплошь подвигалась река, играя радужными побежалыми цветами, тонко подернутая слоем нефти, масла и красок. Скучно глядели с той стороны серыми крышами домишки пригородной слободы.

Мишка опустился на землю и лениво ковырял грязь. Бурое солнышко стало пригревать. Мальчик ни о чем не думал, не вспоминал. Как будто не было фабрики, дыма, Каменной Бабы. Уплыл куда-то неумолкаемый гул. Мишка был один на всем свете, и было ему все равно.

Есть хочется.

Крепко подтянул поясок у штанов. Фабрика без умолку грохотала.

Мишка поднялся, внимательно оглянулся, и глаза у него загорелись.

Был он худенький, тщедушный, и никто бы ему не дал больше семи, а ему было девять лет. Но, когда напрягалось все маленькое тельце, готовясь на опасное дело, и загорались глаза, он казался старше своих лет.

Крадучись, останавливаясь, присматриваясь, чувствуя, как все дрожит от гудящей земли, пополз вдоль ограды в дальний конец двора, где стояли конюшни.

Тут никого не было, только перед открытыми дверьми, откуда пахло свежим конским навозом, сидел на обрубке рыжебородый Созонт, конюх, и починял сбрую. Он гнусавил песню, рыжая борода и усы двигались, и мерно разводил руками, протаскивая сквозь зажатый коленями хомут дратву.

Мишка прижался за кадушкой с затхлой дождевой водой и, не спуская лисьих хитрых глаз, наблюдал за Созонтом. Тот все разводил руками, гнусавя под нос себе. Из дверей конюшни темно глядели пустые станки, — фабричные лошади были в разгоне. Только в дальнем углу круглился гнедой круп и белела

забинтованная нога.

Среди гула, грохота, суеты, движения, среди черных фабричных корпусов, среди мглы, вечно садящейся на людей, на здания, на деревья, на улицы, этот спокойный уголок, — где прело пахло навозом, глядел широкий добродушный зад лошади и разводил руками рыжебородый Созонт, — веял покоем, отдыхом, тишиной. Хотелось завалиться на сене, закрыть глаза и слушать, как мерно жует лошадь.

Но Мишка так же внимательно, остро, не спуская глаз, наблюдал за Созонтом.

Время шло. Медное солнце стояло уже над черными крышами.

Голод щемил в желудке, и было неудобно лежать за кадушкой.

Иногда Созонт подымался, и Мишка с радостным напряжением впивался в него, но он переворачивал хомут и снова начинал тачать.

— И конца этому не будет. У... ты, пес рыжий!.. Не сдохнешь ты со своим хомутом... прилип, окаянный!..

Созонт кончил, встряхнул, посидел, разгля-

дывая работу, потом поднялся и лениво понес хомут в сарай, где висела сбруя.

Мишка мгновенно, как хорек в курятнике, юркнул в конюшню. В полутемноте остро пахло свежим навозом. Фабричный гул дрожал ослабленный, и слышно было, как жевал гнедой. Смутно выступали деревянные стенки станков, избитые и изгрызенные лошадьми. Из оконца косо тянулась солнечная полоса, и в ней плавали золотившиеся пылинки. Влетали и с веселым чириканьем вылетали ласточки.

Неслышно ступая по мягкому, податливому навозу, Мишка пробрался к закрому, где хранился овес. Туго обмотал штаны внизу у ступни и подпоясался. По самое по плечо погрузил руку в мягко, с сухим ласковым шорохом расступившееся зерно и с наслаждением стал выбирать и сыпать за пазуху и за штаны. Жует гнедой, чирикают вверху, влетая, ласточки, возится в сарае Созонт. Опять прошел, сел у входа на обрубке, гнусавит песню и, должно быть, шьет.

— А-а... красный идол... завыл... Повой... повой... — И Мишка злорадно и с торжеством

торопливо набивает за пазуху и за штаны сыпучее, жестковатое, с особенным пыльным запахом, зерно. Рубаха и штаны у него отдулись, и весь он стал круглым и толстым. Ему очень хотелось пронзительно свистнуть и громко закричать победным голосом, но он полупшепотом продолжал ругать Созонта.

— Гнусавый пень... Ха-ха-ха!.. Как вскинешься, как овса недохватка будет... а-а! Так, так, так... Завертись волчком — кто взял?.. Поминай, как звали...

Когда уже некуда было класть, Мишка отряхнулся, как кот, подтянул пояс, огляделся, цепко схватился за лестницу на сеновал, но на сеновал не полез, а осторожно балансируя, пополз по перекинутой через всю конюшню в темноте над станками балке. Когда долез до места, где внизу смутно выделялся гнедой, белея забинтованной ногой и мерно жуя сено, растянулся на животе поверх балки и прислушался: за стенами смутно дрожал гул, неумолчно чирикали ласточки, гнусавил у дверей песню Созонт.

Хитро ухмыляясь, Мишка напряженно схватил ногами балку и разом повис вниз го-

ловой. Гнедой беспокожно покосился, блеснув в полутемноте глазом, и затоптался, подымая больную ногу. Мишка ухватился за хвост и что есть силы несколько раз дернул. Лошадь испуганно забилаась.

— Тиру-у... сто-ой!.. Разыгрался!.. — донесся от дверей сердитый окрик.

Все стихло. Дрожал гул, золотилась полоса из оконца.

Мишка, как летучая мышь, неподвижно висел вниз головой, охватив балку ногами.

Снова гнусапит Созонт, возится со сбруей. Гнедой испуганно забился, наполняя беспокойным шумом конюшню, а у Мишки в руках целый пук волос из хвоста.

За дверьми замолкло, потом слышны тяжелые шаги. Мишка одним махом вскидывает и кладет вдоль балки свое неподвижно вытянутое, как струна, тело. А внизу голос:

— Сто-ой!.. Ну, чего... Тпру... дурак... Чего испужался?.. Гляди, ногу разобьешь... Чисто дурак!..

Созонт осмотрел ногу, заглянул в другие станки, постоял, почесал в затылке. Мишка неподвижно лежит, но каждый мускул дро-

жит у него от напряженного торжествующего, беззвучного, подавленного смеха. Если Созонт откроет его, убьет, как убил в позапрошлом году забравшегося в конюшню мальчика, который через две недели умер от побоев. И тем больше разбирает Мишку торжествующее злорадство.

Созонт ушел, но уже не слышно песни, а слышно, как молча возится со шлеей. Мишка повис, и гнедой опять бешено забился в станке, храпя и стараясь сорваться с привязи.

— Да что за черт!.. Что такое?.. Что за оказия!.. Крысы али ласка забралась?.. Чудеса!..

По всей конюшне тяжелые сердитые шаги. Опять заглядывает по станкам, во все углы.

— Что за оказия!.. И что такое?.. Тьфу ты, прости господи!..

«Ха-ха-ха... Так, так, так... Накось, выкуси!.. Ха-ха-ха!..»

Мишку рвет бешеный смех, но в конюшне только подавленный гул да тяжелые сердитые ищущие шаги.

«Ха-ха-ха!.. А-а... та-та-та... дубина красная!..»

И вдруг холодный пот охватывает: он слышит — тоненькой струйкой сыплется вниз из штанов овес.

Заскрипела лестница на сеновал, выше и выше. Смутно обрисовалась в полутемноте темная голова, плечи; всматривается. У Мишки замерло, перестало биться сердце. Маленькое вытянутое тельце, с раздувшейся от овса рубахой и штанами, приросло к балке. А овес сыплется. Скосив глаза, видит страшную, темную, без лица голову. И ему страшно, мучительно хочется быть за оградой, прибежать домой и сказать: «Батько!.. мамка!..», приткнуться на лавке... Как хорошо дома!..

Темная голова все так же страшно неподвижна. Должно быть, увидел. Мальчик задерживает дыхание и весь замирает в судороге ожидания.

Голова шевельнулась, стала понижаться; заскрипела лестница, потом все стихло. Только тяжелые, сердитые шаги по конюшне, да сдавленный гул, да ласточки беззаботно щебечут, на мгновенье сверкая в оконце.

Мишка с облегчением вздохнул и отер холодный пот со лба.

Слышно — Созонт прошел к дверям и опять молча и сердито принялся за шлею.

Беззвучно, гибким движением подымается Мишка, пробирается по балке и через слуховое окно на сеновале выбирается в переулок.

Разом хватает недремлющий гул. Крепко, совсем по-весеннему пригревает дымно-красное солнце. На улице никого, все там, откуда несется неугасимый грохот.

Чувствуя, как покусывает за пазухой голое тело овес, и радостно ощущая его тяжесть, Мишка, поглядывая вперед и назад, пробирается на угол двух сходящихся тесных переулков.

На углу по обеим сторонам входной двери висят две вывески. На одной слабо выделяются потускневшими, облупившимися красками свечи, сахарная голова, разные банки, чай и многое другое, полусмытое дождями и занесенное пылью и грязью. На другой — тоже полусмытый и запыленный эфиоп, с выкатившимися белками глаз, раздув щеки, курит громадную, с бревно, папиросу, из которой дым идет, как из паровоза. А над вывесками, жалобно визжа, раскачивается по ветру на

ржавом железе когда-то золоченый, а теперь совершенно облезлый деревянный крендель. Такие же полусмытые, полинявшие буквы гласят над дверью: «Бакалейная торговля Умникова».

Мишка с минуту в раздумье стоит на крыльце, подняв брови, глядит на стеклянную, засиженную мухами дверь, не спеша отворяет и хрипло вздрагивает ржавый, полуразбитый колокольчик. Только за порог, а мальчика уже колюче встречают из-за стойки маленькие, с разбегающимися морщинками глазки. Оставляют нестирающееся впечатление мелкой, поджидающей злобы поджатые губы. Раздуваются бледные тонкие ноздри. Седеющая бородка клином.

А навстречу мальчику будто другого человека медово-ласковый голос:

— Что, миленький?.. Али кренделька? Может, конфеточки?.. Деньжишки есть ли?

А сквозь щелочки с разбегающимися морщинками маленькие беспокойные глазки торпливо и зло обыскивают мальчика с ног до головы.

Мишка переступает с ноги на ногу, про се-

бя думает: «чертов Козел...», а вслух сумрачно говорит:

— Овес принес.

— Ну, что ж, ничего... ничего... можно и кренделька... можно и конфетки... — поглядывая на дверь, торопятся бледные ноздри и, разинув мешок, шипят не то ласково, не то злобно: — Сыпь, сыпь, сыпь... шш... сыпь, сыпь!..

— А сколько дашь?

— Шшш... сыпь, сы-ыпь!..

Мишка нерешительно выгребает из-за пазухи овес в мешок, развязывает штаны и сыплет. Козел, злобно играя мускулами щек, завязывает и засовывает мешок под стойку. Сердито сует мальчику крохотный кренделек и, уже не скрывая бегающей в глазах злости, шипит, как потревоженная в сухой траве змея:

— Шшш... сту-пай-ай... ступай, ступай!..

Мишка бледнеет как полотно, дико глядит и говорит, срываясь, дрожащими губами:

— Я было пропал... еще бы трошки, меня бы убили... а ты кренделек... Пуд-то рубль двадцать стоит, а тут больше полпуда...

— Ступай, ступай, ступай!.. А-а!.. Где взял?.. Не сеешь, не жнешь, стало быть, украл... стало, украл! Ага-га-га!.. Во как... Это что?.. Это те икона... свечечка теплится... грех!.. Грех — перед иконой стоишь...

Мишка, весь дрожа, визжит:

— Давай деньги!..

Козел, сунув еще такой же крохотный кренделек, торопливо подталкивает к дверям:

— Ступай, ступай, ступай!.. Шшш!.. Боженьку гневишь, боженьке молиться надо, а ты — вор... вор!.. Свечечку поставь, отмаливай грех!..

Мишка кричит звериным, не своим голосом:

— Ай-яй-яй!.. Слушайте все... краденый овес... Я украл, а он спрятал... Вот в мешке... Украл у Созонта, а он спрятал.

Огоньки испуга и злобы, мигая, путаются в маленьких бегающих глазах.

— Тсссс!.. Шшшш!.. Ступай, ступай, ступай!.. На... еще... на!.. Ступай, ступай... Свечечку поставь... моли грех...

И Мишка с двухкопеечной позеленелой

монетой и несколькими бубликами вылетает, вышвырнутый на улицу, едва успевая подставлять ноги, чтобы не разбиться о мостовую, и сзади, дребезжа, захлопывается дверь, разом отрезывая все еще злобно шипящий, ползучий шепот.

Тупо и равнодушно шел Мишка, жуя бублик. Усталость овладела ослабевшим телом. Грохотала и дымила фабрика.

Мишка был один. Тесный и узкий мир угрюмо стоял кругом сдвинувшимися домами, дрожавшей от неумолкаемого безумия фабрикой, рекой, мутно игравшей радугой, и вечно тусклой мглой, сквозь которую уже не светило солнце.

Опять у реки за фабричной оградой сидел мальчик, ковыряя землю, прислушиваясь к неясно и отрывочно уплывавшим мыслям, и жевал бублики.

Сам не знал, долго ли сидел, но, должно быть, долго, потому что вдруг, дрожа, загудел гудок, и, когда поднял голову, кругом лежали сумрачные тени.

Точно повинуюсь этому повелительному для тысяч людей медному голосу, Мишка под-

нялся и пошел по переулку, неверно и устало, тупо равнодушный ко всему, что его ожидает.

Мигали одинокие огни фонарей, траурно трепетали черные тени. И в этой черноте шли люди, много людей, смутно невидимые, — тысячи шагов глухо наполняли переулки... И Мишка шел.

Остановился, утомленно закрыл глаза, жадно ожидая отдаться тихому темному покою, стирающему все, что было, есть и будет.

Нестерпимая рвущая боль разом разбудила. И мигнули фонари, и заколебались трепетные тени, и шли люди смутные, неясные, и гул множества шагов наполнял переулок. Сердитая знакомая жесткая рука вела, отдирая ухо. Мишка, судорожно уцепившись за нее обеими руками, торопливо, боком, вытянув шею, шел, повизгивая, как наказываемый щенок, и бессмысленно повторял ненужные, ничего не могущие поправить слова:

— Не бу-ду... не бу-у-уду-у!.. Батя, не бу-уу-ду-у!..

Отворилась дверь, поднялись по лестнице, пошли по коридору, и все стояло в тусклой темноте:

— Не бу-ду... не бу-уду, не буду-у!..

Когда вошли в комнату, его швырнули за ухо на пол, и, наполняя злыми слезами, криком и причитаниями слабо пронизанную уличными огнями комнатную темноту, набросилась мать и стала бить как попало, а отец молча снимал с себя и складывал вдвое ремень.

Мишка катался, кричал: «Не бу-ду»! — и сквозь свои крики и вой со странным болезненным чувством прислушивался к слезам матери, полным такого неисчерпаемого отчаяния, что Мишка забывал о своей боли и ловил руку матери, чтобы поцеловать...

— Да ирод ты, да злодей ты наш, да погубитель ты наш... И что же нам с тобой, с упырем, делать, и что же нам с тобой придумать!.. Ведь через тебя, злодея, вся семья голодная, из квартиры гонят... Да разнесчастливая, да на горе, да на муку родила тебя, погубителя! Ой я разнесчастливая!..

Она бросила его, упала головой на стол и беззвучно билась в рыданиях, и Мишке казалось, не из-за его побега, а из-за чего-то огромного, тяжелого, что давило их всех.

Отец молча встряхнул его за шиворот, как платье, которое собираются выбивать, и среди жутко наступившей тишины, разрезая воздух, завизжал ремень. Он впился во всю длину в конвульсивно дернувшегося мальчика, разорвал ветхие штанишки и въелся в затеплившееся кровью тело.

Это было до того больно, что Мишка не закричал, а длинно выдохнул удивленное: «Хх-а-а!..» — и нечеловеческий, звериный крик безумно заметался в темной примолкшей комнате. Ребятишки притаились в уголке. Ремень с визгом ловил извивавшееся тело и на секунду въедался в него.

Мать кинулась, повисла на руке отца.

— Будет... будет, Миколай Иваныч!.. Будет!..

В тускло озаренной с улицы темноте — молчание. Даже сонное дыхание не нарушает его. Молчит и Мишка, неподвижно лежа в своем углу. Он замолчал еще тогда, под ремнем.

Неподвижно глядит сухими, без слез, глазами, смутно разбирая контуры сходящихся стен и потолка. И опять Мишке кажется: он —

один во всем мире и только темнота тесно и узко сдвинулась. А в темноте — его враги.

И первый враг — отец. Нет того отца, который по утрам устало кашляет надрывающимся кашлем, а какой-то другой, молчащий, у которого один звук — свист ремня, которого он не может рассмотреть в темноте.

Второй враг...

Он обходит слово «мать», которое подсказывает кто-то, злой и холодный, с ожесточившимся сердцем... Нет, не мать. Пусть она спит с тихим дыханием в этой темноте, намаялась; не мать, а... Козел. И Мишка радостно чувствует, как ненавидит Козла. Ненавидит его и будет всячески гадить ему. Будет плевать в кадку с патокой, насморкает в банку с вареньем, в кислую капусту непременно подброситдохлую мышь, пусть прокиснет, и непременно пустит из-за угла камнем в окно... Ха-ха-ха! Пусть вставляет.

А Созонт?.. Какой это упорный и злой враг. Он у него будет постоянно таскать овес, будет дергать за хвост лошадей, чтоб досадить... А Каменная Баба?.. А?..

Хочется спать, ах, как хочется спать... Боль-

но, нельзя пошевеливаться... Спать, спать, спать... очень больно... Только бы уснуть, только... спа-ать...

Еще не успеет утренняя тьма рассеяться, за окнами все тот же гудок, что вчера, третьего дня, тот же, что завтра, послезавтра, без конца, упорный, ровный, не знающий ни жалости, ни пощады. Потом целый день в душной, дымной, промозглой комнате с ребятишками, которых надо кормить, смотреть, возиться. Потом приходит отец с работы, и все ребятишки притихают. И так без срока, без отдыха, без перерыва...

Мишка смотрит в окно на потемневшую улицу, а с улицы смотрит в окно ночь мигающими фонарями.

— Тя-атька, отдай меня на фабрику.

Отец, усталый, сердитый после работы, хлебает ложкой. Лампочка тоненько, унывно поет, шевелясь черно-бегущей, через разбитое стекло копящей струйкой. По стенам, судорожно тыкаясь, ползают мутные тени.

— Отдай-ай!.. — гнусаво тянет Мишка.

— Ну, цыц!.. — злобно стучит ложкой по столу отец. — Куда тебя, щенка, вести? На

черта ты кому сдался?..

Мишка отодвигается, каждую минуту готовый броситься наутек, и еще жалобнее гнусавит:

— Ну, отдай-ай в училище... Чего же я так — басурман... Отдай-ай... отда-ай...

Ложка, разбрызгивая горячие капли, больно влепляется Мишке в лоб, а голова начинает мотаться из стороны в сторону в отцовской, крепко захватившей волосы руке.

— Ай-яй-яй-яй!.. Не буду... не буду!.. Тятка, больше не буду!..

Ночью, когда сквозь темноту окон тускло отсвечивают уличные фонари, в душной, затхлой комнате на все лады подсвистывают носами ребятишки, Мишка, ворочаясь под лохмотьями в своем углу, слышит, как отец с матерью разговаривают вполголоса:

— На фабрику все одно не возьмут... и в подручные годы не вышли...

Молчание. В темноте сонно бормочут ребятишки и опять усердно подсвистывают заложенными носами.

— Терентьев сказывал, в трактир можно, да поглядел — тоже, говорит, мал.

Опять помолчали. Мишка думает о трактире, о «машине», которая играет там день и ночь, шум, звон, говор, табачный дым, а он, Мишка, в белой рубашке и штанах, в сапогах набором, разносит на подносе чай, водку, закуски. Весело!

Он торопливо лезет рукой под лохмотья в самый угол и нащупывает наполовину выкуренную папиросу.

«Тут. Думал, пропала».

— В училище надо бы отдать... Вот до чего надо... душа болит за него...

А голос матери:

— Как отдать-то?.. Кто же дома-то?.. Мне уж не ходить тогда на поденную... не выбьемся...

И снова только темнота, и в темноте кто-то над Мишкой: «бум-умм»...

Он засыпает тяжело и тревожно.

Любил Мишка субботы, когда на фабрике производился расчет. Это бывало два раза в месяц. Отец приходил тогда раньше обыкновенного. Глаза у него блестят, на тусклых щеках слабый румянец, и слегка пахнет водкой. Выкладывает на стол связку баранок и день-

ги.

— Ну, на, мать, распорядись да самоварчик нам сообрази.

Мать первым делом раскладывает кучечками медяки, двугривенные, пятиалтынники, — кому сколько долгу платить, и лицо у нее становится озабоченнее, морщины глубже, глаза чаще моргают.

А отец ложится на скрипучую кровать.

— Ребятенки, сюда!

Все, как цыплята, забираются к нему. Кто примащивается на животе, кто обвиняет ручонками жилистую, худую шею. Мишка, старший, солидно присаживается на краю.

— Ну, начинай, — говорит отец.

И все тоненько, разноголосо, кто куда попало, но очень старательно начинают:

*Сре-ди-и до-о-ли-и-ны ро-о-вныя...*

У отца козлиный, прыгающий голос. Он смотрит в черный потолок, собирает на переносице брови, широко раскрывает рот и так старается, что на носу выступают капельки пота. Мишка сурово, сосредоточенно, сверкая глазами и прижав подбородок, поет басом,

как подобает старшему в семье. А маленькая двухлетняя Нютка, сидя у отца на животе и удивленно наморщив лобик, крохотным, как белокурый волосок на ее головке, голоском из всех сил старается выговорить:

*...ня гля-ад-ко-ой ви-са-те-е...*

— ... Четыре тридцать пять... да за воду двугривенный, да Федоровне долгу восемнадцать копеек... — слышится шепот матери, и лицо ее еще глубже изрезано морщинами, и еще глубже впали глаза, и еще болезненней собрались на переносице брови.

*...ра-а-стет, цве-тет зе-ле-ный ду-уб... —*

разноголосо заполняется задымленная темная комнатка.

И уж нет этой низкой темной комнатки, нет непрерывного царящего над околотком гула, нет грязных, тесных, вонючих переулков, вечной, непроходящей мглы.

*...на-а гла-ад-ко-ой вы-ы-со-те...*

Мишка искоса поглядывает на отца, на его запавший, раскрывающийся, с обвисшими

усами рот. Это не тот отец, который нехотя поднимается по утрам под гудок, долго кашляет, сердито кричит на мать, на детей и жестоко порет его, Мишку, за малейшую провинность, — нет, это совсем другой человек, которого редко видит Мишка и который так прекрасно поет чудесным козлиным голосом:

*...ка-ак ре-крут на ча-а-сах...*

«Ну, ничего... пускай... Не буду больше трогать Созонта, — думает Мишка, — и овса не буду у него больше воровать, и в дыру в стене не буду лазить... никак ее решеткой заделали, все одно не пролезешь...»

Уж давно стемнело, и уличные фонари посвечивают в темные окна. На столе курлыкает, шипит и брызгается самовар, кутаясь в облаках пара; тоненько колеблясь, траурно коптит на стене лампочка, вкусно глядят со стола баранки, и хлопотливо возится, приготавливая ужин, мать.

После «Среди долины ровныя...» поют «Выйду ль я на реченьку», «Во саду ли, в огороде», но выходит хуже, во-первых, потому, что все голосами сбиваются на «Среди доли-

ны ровные», во-вторых, Нютка неизменно поет:

*...ня гля-ад-кой ви-са-те-е...*

А когда обсядут стол и все с потными лицами, обжигаясь, пьют жиденский, белый, как вода, чай, откусывая по крохотному кусочку сахара, и с треском разгрызают крепкие, как орехи, баранки, которым возрасту не меньше десяти лет, отец глядит на Мишку, любовно хлопает по тоненькой, худенькой спине и говорит:

— Ну, расти, расти... большак!.. Будет отцу-то одному, — гляди, пристанет, пора и в паре идти... а?.. Скоро, Миша, по гудку вместе будем ходить?..

Что-то дрогнуло у Мишки, и какой-то холодный, жесткий ком тает в маленьком ожесточенном сердце, и хочется схватить эту жесткую, мозолистую руку, прильнуть к ней губами, пряча теплые, ненужные, детские слезы, но ласка — редкая гостья, и Мишка хмурит брови, дует на блюдечко, с шумом тянет губами чай и говорит, подвигая стакан матери:

— Ну-ка, плесни мне еще.

И вытерев губы:

— Сказывают, Малафеевская фабрика стала, котел разорвало, трое сварились, да человек восемь попортило — в больницу отволокли.

— А около лявки солдаты шли, на голеве у них хвосты, — смешивается с тоненьким звенящим пением самовара тоненький звенящий голосок Нюты.

Отец любовно осоловелыми, с трудом поднимающимися глазами смотрит на ребят.

— Ты бы, старик, ложился — вишь, клюешь, — говорила мать, убирая посуду.

Погодя немного в комнатушке, заполненной неподвижной тьмой, воцаряется усталый сон.

Дни бегут, все так же начинаясь и кончаясь гудком, все так же заполненные вечно нависшей мглой, вечно дрожащим гулом, постоянной возней с ребятами, постоянными попреками и бранью матери, все так же по утрам уходит, кашляя, отец и приходит к ночи темный, усталый, злой, и рука у него тяжела.

Солнце пригревает все больше, каждый день все выше поднимаясь над крышами, и около полудня стало на минутку заглядывать даже в переулок, где жил Мишка; корочкой стала затягиваться никогда не просыхающая грязь.

Когда Мишка бегал за чем-нибудь для матери в лавчонку, пьяный, необузданный весенний день охватывал его. Воробьи, как ошалелые, наполняли весь переулок безудержным гамом, на подоконниках ворковали голуби, кричали галки, и сквозь мглу ласково, любовно светило теплое весеннее солнышко.

Мишка во весь дух бежал, перепрыгивая, как козел, через грязь, в лавку и из лавки, только одного боясь, только одно подавляя всей силой воли — не убежать на простор, на солнце, на воздух.

— На копеечку — масла... на копеечку — сахара, на копеечку — соли... — твердил он, прыгая, напряженно стараясь заглушить и воробьиный гам, и воркованье голубей, и крик галок, и светлую, ласковую, зовущую улыбку солнца.

А когда прибежал в затхлую, угарную, с

темными окнами комнатушку, говорил, задышавшись от быстрого бега:

— Матка, листики уж на деревьях вылезают, ей-богу!..

— Ну-ну, я тебе дам листики!.. Я тебе такие дам листики!.. Если убежишь, и не приходи... Отец сказал — убьет, и без разговору. Так и знай. Возьми Нютку-то, не видишь, — заснула.

И Мишка укачивал сестренку, ходил за водой, колот лучину, таскал уголь, мыл полы, старался ни о чем не думать. А воробьи, а голуби, а ласточки, а весенний ветерок? Все щебетало, ворковало, кричало, смеялось, лезло ему на глаза и звало его к себе, безумно веселое, яркое, живое. Нахмурившись, стиснув зубы, Мишка работал.

— На копеечку — чаю... на три копеечки — хлеба... на две копеечки — гусака... — и прыгал через грязь и бежал к лавке.

Мишка, пригреваемый солнцем, сидел под фабричной стеной у реки, которая мутно несла побежалые цвета, ковырял землю и думал.

В руках было целое богатство — два пятника, а в сердце тяжелый холодный комок оже-

сточения.

Солнце, галки, воробьи, уличное движение и суета, звонкие веселые голоса, которые трепетали и бились о стены домов, пересилили Мишку, и вместо лавки он пустился бежать за фабрику. Дом остался где-то далеко, точно его отрезали, и не было уже возврата.

«Эх, кабы товарищ!..» — думал Мишка и с тоской глядел вдоль реки, неведомо куда двигавшейся мутной массой воды, терявшей поворотом за соседними, сбившимися серой кучей строениями.

Все мальчуганы одногодки, кого знал Мишка, с утра до вечера были заняты: кто, как Мишка, возился дома с ребятишками и по хозяйству, кто был в мальчиках в трактире, в лавке, пивной, и только немногие бегали в школу до обеда, а после обеда возились с домашними делами.

Мишка в раздумье поднялся и, осторожно обходя ссохшуюся комками грязь и разглядывая свои босые грязные ноги, без цели стал бродить по переулкам.

На углу знакомый крендель, стеариновые свечи, голова сахару, курящий эфиоп... Миш-

ка остановился, рассматривая, думая о другом, потом поглядел на свои пятаки в руке.

— Нет, погожу, пригодятся...

По ступенькам из лавки спускался мальчик, годом старше Мишки, опрятно и чисто одетый. По его белому доброму, довольному лицу мелькнула тень испуга, недоумения и желания спрятаться, когда увидел Мишку. Стал осторожней и тише спускаться, упорно глядя под ноги на ступеньки.

Черная, исхудалая Мишкина рожа злорадно перекосилась.

— Козлов сын идет, бородой трясет, «ме-ме» сказать не может...

Ваня весь съежился и хотел пройти, не замечая, но Мишка с обезьяньей ловкостью прыгнул и загородил ему дорогу.

— Ну-у... чего тебе надо?.. — певучим голосом жалобно протянул беленький мальчик, испуганно поднимая брови.

— А вот чего... — И Мишка уже приготовился вцепиться ему в волосы, да вдруг раздумал, взял за рукав и пошел рядом, хитро заглядывая в глаза. — Ванька, слышь, каку штуку я надумал, ей-богу, узнаешь — оближешь-

ся...

— Ну чего тебе... Меня батя послал... некогда мне... недоверчиво и плаксиво протянул мальчик.

— Не трону, убей меня бог, не буду трогать... Штуку, брат... слышь ты?

Он остановился, придерживая за рукав мальчика и с чрезвычайной убедительностью глядя ему в глаза.

— Ну, чего ты?

— Слышь, убежём вместе... Пстой... убежём, я тут одно место знаю... на колокольню влезем... галчата, воробьята, сколько хочешь... Посмотрим оттуда... далеко видать... а голу-бей, турманов наберем, ой-ой-ой!

Мишка скроил такую чудовищную рожу, что мальчик приостановился.

— А ты лазил?

— Не лазил, а Игнатка говорил... Фу, говорит, аж дух замирает.

Мальчик подумал.

— Да меня батя послал письмо опустить.

— Дорогой опустишь.

— Да велел скорей приходить.

— Скажешь, пожарные ехали, а назад по-

лиция не пропускала — пришлось далеко обходить.

Мальчик постоял, глядя вдоль переулка.

— Грех врать.

— Дураку грех, умному на прибыль.

— Ну, пойдем, только недолго, да письмо надо опустить.

— Письмо давай, зараз опущу.

Мишка повертел перед носом, понюхал.

— Керосином воняет да конфетами. И чего тут написано? Жалко, неграмотный, а то бы прочел.

— Пойдем направо, я знаю тут ящик почтовый.

— Фу, куда там направо! Нам прямо надо на Миколу Мокрого, что крюку-то делать.

— Да письмо же надо...

— Ну постой тут да не сходи с места, я зараз.

И Мишка исчез за углом. Остановился, изорвал в клочки письмо, засунул в широко зиявшее отверстие водосточной трубы и через минуту был около Вани.

— Ну, идем скорей, а то Козел увидит.

— А письмо где?

— Фу, да опустил.

— Тут я не помню ящика.

— Мало чего не помнишь... Пойдем скорей, Козел увидит — все пропало, а там голубей несть числа, темно от них. — И он торопливо потянул растерянно и недоумело оглядывающегося Ваню.

Мальчики торопливо шли, и все тянулись узкие, кривые, грязные, вонючие переулки, утрюмые, с осыпавшейся штукатуркой, с зияющими окнами дома, черные, закоптелые фабрики, заводы, высоко дымящие трубы, и надо всем все покрывающий гул, а над ним вечною мглой дым.

Этим переулкам, этим грязным улицам, этим темным, сырым домам, этой дымной мгле, казалось, ни конца ни краю.

— В энту субботу купил трех голубей, один турман — здорово перевертывается.

— На кой леший тебе покупать, коли даром наловим сколько хочешь, хоть на возклади, — говорил Мишка, торопливо семеня босыми грязными ногами, стараясь постоянно держать в напряженном интересе Ваню, который так же торопливо постукивал каб-

лучками козловых сапожек.

Долго шли, и долго тянулись такие же запутанные переулки и улочки, и на углах лавчонки с кренделями, с стеариновыми свечами, с курящими турками, и из лавчонки выглядывал хозяин, похожий на Козла.

Потом улицы стали раздаваться, стали прямее и тире; вместо гула, который то усиливался, когда шли мимо фабрики, то падал, когда проходили ее, катился ровный, однозвучный грохот экипажей и шуршанье тысячи ног, топтавших широкие тротуары. Уже не было лавчонок с курящими эфиопами, а ослепительно блестя на солнце, глядели колоссальные зеркальные стекла магазинов.

— Да куда мы идем? — И Ваня приостановился. — Ведь Микола Мокрый в другой стороне.

— Ну, пойдем, все одно... Заглянем тут в одно место, а там и к Миколе.

Пошли. Дома стояли высокие, веселые, чистые и на солнечной стороне ослепительно блестели стеклами. Внизу в магазинах все было видно внутри, — люди входили, снимали шляпы, рассматривали товары, подходили к

кассе, жестикулировали друг с другом, точно все это происходило на улице, которая расширялась туда, внутрь дома, за сплошное, терявшееся для глаза стекло.

Из-за угла вывернулся трамвай и, торопливо роняя синие искры, скрежеща на повороте рельсами, делаясь все меньше и меньше, побежал по бесконечно уходящей улице. И сколько глаз хватал, все та жедвигающаяся, торопливая пестрая толпа, бесчисленные экипажи, лошади, стук копыт и колышущийся надо всем пестрый гул.

— А... Видал?!

У Мишки глаза загорелись.

— Поедем... ей-богу... А? Поедем, Ванька!..

Ваня приостановился.

— Да куда поедем-то?

— Фу-у, да поедем... ну! — И он потащил мальчика за рукав.

— Деньги?

— Ну, у меня... поедем!..

Они дошли до угла.

Как в водовороте, шумящая толпа огибала угол и непрерывно, без конца и края, широким потоком, неровно и колеблясь, подвига-

лась во всю ширину тротуара.

— А?.. А у нас-то!

— Сколько их... Целый день шатаются...

Ишь делать нечего.

— Гляди, выскочил!..

Из-за угла, скрежеща и крепясь на завороте, снова вывернулся трамвай и, скрипя тормозами, остановился. Мальчики кинулись, стали продираться сквозь входящую и выходящую публику. Ваня вежливо давал дорогу то тому, то другому и все никак не мог добраться, а Мишка свирепо работал кулаками, локтями, коленями и головой, которую опустил, как бодающийся баран, и даже попробовал кого-то укусить.

Кондуктор грубо дернул его.

— Ты куда?

— Туда, куда и все.

— Милостыню просить... Пошел!

— Сам проси, коли хочешь... я за свои деньги... Вот за двоих... — И Мишка разжал ладонь с двумя пятаками, суя ее к самому носу кондуктора.

— Ну ладно, ступай, да смотри мне...

— И так смотрю, глаза есть... ты смотри...

— Ну, ну, огрызнись еще!

А Мишка уже с площадки отчаянно жестикулирует товарищу:

— Ванька, сюда!.. Слышь, вали!..

И оба, ухмыляясь, оглядываясь и подмигивая друг другу, устраиваются в самом углу площадки. Вагон дернулся, и с все повышающимся звуком мимо побежали назад дома, зеркальные стекла, пестрая текучая толпа, лошади, экипажи и быстро мелькающая мостовая. Как впадающие серые реки, проносились, разрывая дома, поперечные улицы, на мгновение тоже бесконечно уходя в голубоватую дымку.

— Вот так дует, а? Ванька! — И вдруг зашептал: — Гляди, барыня кака сидит... кабы не лопнула... надулась-то...

Публика сидела чинно и молча, глядя перед собою или в окна. У всех белели крахмальные воротнички, а у дам на шляпах от покачивания вагона шевелились огромные цветы и перья.

Мишка все дергал Ваню:

— Ванька... гляди: у ей на голове птицы...

— Тише... кондуктор...

— Должно, с гнездами... небось и яйца есть... Вот бы достать.

Мальчишки прыснули, зажимая рты руками.

Дама сердито шевелила перьями.

— А энтот... возле-то... не может нагнуться наперед... вся шея в кадлушке...

— По самые уши...

— Кре-епкая...

— Бе-елая...

— Ишь ты, на стороны только голову поворачивает.

— Ему хочь на коленки сядь, не увидит, не нагнет голову...

— А на голове кверху ногами ведро... хочь зараз черпай...

И ребятишки опять прыснули что есть силы, зажимая себе рты и кусая пальцы, чтобы не расхохотаться на весь вагон. Господин так же сердито сидел, как и дама, вытянув длинную шею в высочайшем, туго накрахмаленном, подпиравшем щеки и подбородок воротничке и поддерживая головой огромный лоснящийся цилиндр.

— И не ворочается, а то ведро упадет...

— Прсс... выгонят... мм... лчи!..

Красные, задыхающиеся, они вытирали бжежавшие от неудержимого смеха слезы и сопли и давили кулаками животы.

— Миш-ка... бу... дет... бр... брось... а то... — сквозь слезы едва выговаривал Ваня.

Публика стала обращать внимание на двух мальчиков, а сердитый господин, не поворачивая шеи и головы, лишь повел на них, скосив глаза.

Мальчишки глянули и покатались от хохоту.

На остановке кондуктор взял Мишку за ухо, и Мишка, вытянув шею и стараясь ущипнуть кондуктора, боком шел, чтобы не так больно было, и от пинка вылетел с площадки. За ним мелькнуло испуганное лицо Вани, которого, впрочем, кондуктор не тронул, вероятно благодаря козловым сапожкам, гладко причесанной голове и чистой одежде.

Трамвай покатился дальше, а Мишка кричал, показывая кондуктору шиш:

— Эй ты, белоглазая свинья!.. Слюни подбери!.. слю-уни!..

— Вы чего тут?

Грубый, повелительный окрик раздался над самым ухом, и в глаза бросилось сердитое усатое лицо городского в темной шинели и белых перчатках.

Мальчики пустились со всех ног и остановились, тяжело дыша, только за углом. С тем же однозвучным грохотом катились экипажи, и с неумирающим шуршанием шли тысячи людей. Проплывали, краснея на шляпах, яркие цветы, чернели цилиндры и котелки.

— А?.. Барыня-то... чай, еще больше надудась?..

И Мишка скорчил рожу, по его мнению, чрезвычайно похожую на барынину.

— А барин-то... в ведре... только глазами ворочает...

И снова их охватила неодолимая беспричинная веселость, неподавимый смех. Они шли, бесцеремонно толкаясь в движущейся чисто одетой толпе, присматриваясь к публике.

— Переломится... ей-богу, переломится, — торопливо говорил Мишка, поспевая за красиво одетой дамой с тонкой, сильно перетянутой талией. — Глаза вылезут, разрази меня

гром, вылезут!.. — И Мишка, забегая, старался заглянуть ей в лицо, действительно ли вылезают.

— Мишка, будет, нехорошо! — придерживал за рваную рубаху Ваня. — Будет, а то опять городской.

— Какие все ядреные, да лобастые, да краснорожие!.. Жрут здорово!..

— Мы тоже хорошо едим: по праздникам всегда пирог, по четвергам — кисель.

Мишка остановился, торопливо развязал веревочку от штанов, деловито перетянул живот, опять завязал, а публика продолжала двигаться, обходя и мельком и пренебрежительно взглядывая на мальчиков.

— Жрать захотелось... Будет у меня живот, как у энтой осы. Должно, она тоже с голоду...

— Не-е... в корсете. У господ все в корсете.

И они опять шли. Теперь они перестали смотреть на публику, а все чаще и чаще останавливались перед гастрономическими магазинами.

Сквозь колоссальные стекла желтели громадные сыры, белели всевозможные жестяные коробки с консервами, стеклянные банки

с огурчиками, с маринованной рыбой, гирляндами висели колбасы; прижав ноги, лежали зажаренные, вкусно темневшие, даже через стекло соблазнительно пахнувшие утки.

Мишка подолгу стоял и смотрел. Мысленно с трудом поднимал огромный, как колесо, желтеющий сыр и, ощутив всю его тяжесть, опускал на пол, свирепо запуская в него зубы и долго и с наслаждением жевал. Потом вытаскивал рукой из банки огурчики, маленькие превкусные огурчики, очень похожие на выкрашенные небольшие камешки, потом тянул из банки за хвост маринованную рыбу, которую ел с головы, потом...

Ваня дергал его за рубаху:

— Пойдем... чего стоять?..

— Фу, да постой!.. — И принимался за самое вкусное и самое любимое — за колбасу.

Он ее откусывал прямо на весу, подняв голову, сначала копченую, которая так чудесно пахнет дымком. Колбаса все становилась короче, а Мишка вытягивался, лез вверх, пока не откусывал последний раз под самым потолком. Потом спускался и принимался за вареную. На ней оставались следы от зубов, и

среди нежного розового мяса жирно белели кусочки сала. Колбаса подходила к концу...

Мишка проглотил слюну, но она сейчас же опять набежала, он сплюнул и угрюмо проговорил:

— Пойдем.

Они пошли. Ваня молча и боязливо шел за Мишкой, с удивлением присматриваясь к его худенькому лицу со впалыми блестящими глазами, к худенькой фигурке, на которой так ясно, приподнимая грязную рубашку, выступали лопатки и угловатые острые локти, как будто видел в первый раз. И не то сожаление, не то снисходительная жалость шевельнулась в Ване.

— Мишка, адохлый ты.

— Пошел к черту... Тебе что за дело?

Мимо равнодушно, с тем же заглушающим голоса и слова шуршанием двигалась живая, однообразная в своей разнообразии толпа, как будто была только широкая улица, катящиеся экипажи, огромные дома, зеркальные магазины, и не было этих затерявшихся в толпе мальчиков.

Уже не останавливались около гастроно-

мических магазинов, а шли молча и угрюмо.

В одном только месте Мишка приник к стеклу. Громадное во всю стену зеркальное стекло было задернуто изнутри красной шелковой материей. Уголок материи завернулся, и был виден с расписанным потолком и стенами огромный зал, весь заставленный столами, покрытыми ослепительно белыми скатертями. За столами сидели люди в черных сюртуках, с белой грудью, ели и пили. Другие люди, точно в таких же черных сюртуках, с такой же белой грудью, бегали между столами, приносили и уносили блюда, бутылки, тарелки, стояли около столов и глядели тем в рот.

Мишка обегал глазами все столы, дальние и ближние, остановился на одном, где сидело двое, и, не отрываясь, стал глядеть на них. Один — толстый, с пробритым подбородком и расчесанными бакенбардами, другой — с тоненькими, как крысиные хвостики, остро вздернутыми кверху усами.

Толстый завязал вокруг шеи белую как кипень салфетку, а с тонкими усиками заткнул угол салфетки за жилетку. Толстый, не пово-

рачивая головы, пошевелил красными жирными губами, и глядевший им в рот человек подскочил, согнулся и налил в бокалы одному и другому чего-то кипящего, золотисто искрящегося.

Толстый взял бокал в руку, и с крысиными усиками тоже взял в руку, и они, покачиваясь, наклоняясь друг к другу и шевеля в бокалах золотившуюся, искрившуюся влагу, смотрели друг на друга, шевелили губами, то протягивая, то прижимая руки к груди, потом подняли бокалы, покивали друг другу, сделали на лице улыбки и, запрокидывая, стали глотать играющую, колеблющуюся искристую влагу, и у тонкого на длинной жилистой шее прыгал кадык. Потом толстый отрезал большой кусок мяса, широко раскрыл, как пасть, рот со скверными, почернелыми зубами, положил туда и стал медленно, опуская и поднимая брови, жевать, двигая челюстями справа налево. Стоявшие возле люди глядели ему в рот; не отрываясь, зажав зубы, глядел Мишка, глядел и Ваня, долго и безуспешно дергавший Мишку за рубашку. Толстый переложил языком кусок за другую щеку и так же

сосредоточенно стал жевать слева направо.

Мишка, помолчав, сказал:

— Ну, и здоровый жрать!..

— Ресторан, а это официанты, — важно сказал Ваня. — Они, вишь, одеваются, как ба-ре, не отличишь. Это у нас только в трактирах половые в белых рубахах.

Мишка снова торопливо развязывал веревочку от штанов и так перетянулся, что живот у него ушел под ребра. Потом собрал, сколько мог, во рту и плюнул; по стеклу, оставляя мокрый след, потекли белой пеной слюни.

Раздался густой бас с парадного:

— Это что?.. Хулиганить!.. А в часть?..

Огромный швейцар в золотой ливрее шел от парадного. Мальчики бросились прочь, толкаясь и путаясь среди публики. На бегу Мишка, обернувшись, успел бросить:

— Золото себе на брюхо нашил и думает — генерал.

Прошли квартал.

Ваня остановился:

— Надо домой.

Мишка, угрюмо помолчав, небрежно бро-

сил:

— Соскучился по порке?

Опять пошли молча. У Вани дергалось лицо, но сдерживался.

— Надо домой.

— Домой, домой!.. — передразнил Мишка. — А как зачнут тебя пороть, сладко запоешь!.. Дурак!..

И, пройдя несколько шагов, мрачно добавил:

— Кабы поесть только...

Потом вдруг остановился, схватил Ваню за воротник, дернул и озлобленно завизжал:

— Есть деньги?..

Ваня замялся:

— Ну-у...

— Есть деньги?..

Публика сплошной массой шла, обходя их.

— Маленькие скандалисты, — проговорил кто-то.

— Да... не-ту... Ну-у... есть... — протянул Ваня, подняв брови и не зная, как отделаться от Мишки, — только их нельзя трогать... крестный подарил... на именины... беречь велел... новенький полтинник...

— Давай! — К лицу Вани, обдавая горячим дыханием, близко наклонилось искривленное злобой лицо Мишки. — Давай сию минуту!

Ваня, так же недоумело подняв брови, полез в карман, долго рылся, захватывая и опять опуская полтинник, наконец вытащил. Мишка выхватил, зажал в руке и торопливо пошел, Ваня за ним.

— Тут ничего нельзя купить... — говорил заискивающе Ваня, поспевая сзади, — магазины... дорого... Пойдем в съестную лавку.

Долго шли, пока улицы стали тише, дома ниже, вместо магазинов обыкновенные лавки. На углу Ваня прочитал: «Съестная лавка».

С разгоревшимися голодными глазами оба мальчика вошли туда.

— Ну, та-ак!.. — проговорил, выходя из лавки, Мишка с веселыми глазами, тщательно облизывая пальцы, потом вытер их о волосы и штаны и совсем свободно распустил веревочку на животе.

Ваня шел тоже довольный и веселый.

— Вот так закусили!..

— Ну, а как же крестный теперь?.. Слопал

именинный полтинник...

Лицо Вани омрачилось.

— Куда-а же мы? — протянул жалобно. — Домой надо...

— Али спина чешется?.. Поспеешь, спустят еще шкуру...

И они без толку и без цели стали бродить по улицам. То попадали в центральные части, и кругом шумела движущаяся толпа, катились экипажи, роняя синие искры, неслись трамваи, то попадали в тихие, укромные улицы, где одиноко чернели редкие прохожие, зеленели и шептались, чуть покачиваясь, деревья в палисадниках.

В одном месте улица расширялась в площадь, и площадь вся была заставлена извозчичьими пролетками. Огромное со стеклянным куполом здание замыкало площадь. К нему то и дело подъезжали и отъезжали экипажи, густыми толпами выходил по широким ступеням народ, и сквозь гул, говор, стук копыт и колес доносились звонки, гудки паровозов, прерывистые трели кондуктора.

— Ванька, поедем!

— Куда?

— Фу-у!.. Ну да... прямо... куда-нибудь... —  
И Мишка нетерпеливо махнул рукой.

Ваня стоял, недоумевающе подняв брови.

— Я не знаю.

— Чего не знаешь?.. Поспеешь домой-то...

Поедем, погуляем за городом.

— Денег мало.

— Сколько?

Ваня разжал руку, пересчитал:

— Тринадцать копеек.

— Чертова дюжина... Эх, жалко, — много съели... Ну ничего, поедем зайцами.

— А как заберут?

— Тю-у!.. Ты не будь дураком!..

Поднялись по ступеням и вмещались в непрерывно гудящую, переливающуюся толпу. Торопливо бежали носильщики, гудя катились тележки, швейцар выкрикивал поезда, били звонки, и, надрываясь, тонко и странно выделяясь на всем этом пестром, колышущемся море звуков, трепетал плач крохотного ребенка.

Мишка подозрительно поглядывал на франтоватых, с военной выправкой жандармов, внимательно, не спуская глаз пропускав-

ших мимо себя движущуюся толпу, и, дернув Ваню, пролез в вагон.

Синий дым и говор густо стояли в набитом людьми вагоне. Всюду навалены чемоданы, корзины, узлы; препираются из-за мест, выкрикивают:

— Батюшки, билет потерял!..

— Да вы куда едете?

— Примите ваш чемодан, говорю. Оглохли, что ли?

В сутолоке и суете Мишка опустился на пол и полез под скамейку, но его заметили. Поднялся шум, крики:

— Гляди, полез...

— Ага-га-га, самые жулики и есть!..

— Вот они прорезают чемоданы-то...

— Зови кондуктора...

— И жандарма, да поскорей...

Мишка увидел, что дело принимает скверный оборот, высунулся из-под скамьи, как за-  
травленный хорек.

— Нет... да я ничего... я только... нам только доехать... с товарищем... тут недалечко...

— Знаем «с товарищем»: один разрезает чемоданы, а другой таскает... Зови скорей

жандарма!

Мишку держали за ухо. Он сделал плаксивую рожу и хнычущим голосом заговорил:

— Ой, дяденька, не держи меня за это ухо... нарыв в нем, доктора лечат... держи за другое...

Но, когда стали переменять ухо, Мишка хлопнулся об пол, юркнул под скамьи и пополз, как змея, между ногами, чемоданами.

— Держи, держи его!

— Вот под этой скамейкой... лови!

Мишка вынырнул в другом конце вагона и бросился к двери. На площадке стоял Ваня и весь трясся, бледный, с огромными глазами.

— Бежим, — крикнул Мишка.

— Не пойду... я домо-ой!..

— Бежим... я слышал, за тобой жандарма послали.

Ваня пустился за Мишкой. Пробежали два вагона, захлопывая за собой двери. В отделении для некурящих было чисто и мало народу. Наученный горьким опытом, Мишка посидел в углу на лавочке и, когда убедился, что пассажиры не смотрят, осторожно полез под лавку, потянув за собой Ваню.

Они лежали в темноте, неудобно согнув головы и ноги и прижавшись друг к другу. В вагон входили и выходили. По полу мелькали сапоги, ботинки. Хлопали двери. Должно быть, пробил звонок, потому что кто-то, тяжело топоча, пробежал мимо вагона и, торопливо гремя, прокатили тележку. Проверещал кондукторский свисток, глухо гукнул далеко впереди паровоз, на минуту все смолкло, потом пол дернулся, качнув обоих мальчиков; под полом стукнули колеса и пошли стучать и перекликаться все громче и громче, все быстрее и быстрее.

Лежать было тесно и неудобно. Ваня прошептал:

— Что же мы теперь будем делать?

У Мишки раздувались ноздри, и не хотелось разговаривать.

— Цыц!.. Услышат...

Первое время все казалось, по полу к самому лицу переступают лакированные сапоги и нагибается кондуктор. Но гул по-прежнему бежал, ритмически постукивая, и неподвижно выделялись во тьме ноги пассажиров.

Мишка от нечего делать думал. Думал о

своих врагах, к которым причислил теперь пассажиров. Они преследуют и травят его, как замученного зайца. За что? Вспомнил и Созонта, и Каменную Бабу, и отца, и Козла, и надутую барыню, и барина в ведре, — все были его враги... Ах, если бы всем отомстить!

И чтобы досадить Созонту, мысленно дергал у гнедого из хвоста волосы, пускал в Каменную Бабу засохшей грязью, барыне в гнездо на шляпке положилдохлого цыпленка, у барина осторожно провернул дырку в цилиндре, а отца...

Он вспомнил, как отец утром, еще темно, торопливо поднимался, долго кашлял, хлебал что-то и уходил на фабрику, откуда настойчиво и долго несся гудок, и, уже темно, приходил, торопливо пил чай, закусывал и ложился, чтобы подняться чуть свет... «Среди долины ровныя...» Отцовская рука ложится на плечо, и голос, который он редко слышит: «Расти, расти, большак, скоро в паре по гудку ходить будем...»

Мишка вздыхает. Ему мучительно хочется быть теперь дома. Ну, выдерут... пусть выдерут... теперь он охотно будет возиться с ребя-

тишками, будет мыть полы, все будет делать...

Мишка сует в бок кулаком заворочавшегося Ваню и закрывает глаза... Та-та-та! та-та-та!.. кто-то однообразно, мерно и скучно рассказывает под полом все об одном и том же, о чем — Мишка не может понять.

Когда на полустанке мальчики незаметно выбрались на платформу, их ослепило и оглушило.

Ослепило солнце, милое, чудесное солнце, которого не бывает в городе, тысячами золотисто-зеленых искр струится, зыблется в живой шепчущей листве, в лоснящихся, сколько глаз хватает, хлебах, в траве, полной кузнечиков-музыкантов, в ярко кланяющихся головках цветов.

Оглушила тишина, та тишина, которая бывает только в поле, в лесу, в синей степи да над речкой, зеркально прячущейся в лозняках, — тишина, полная птичьих голосов, травяных запахов, полная восторгов и солнечного блеска, и шороха, и безудержного желания кричать, взмахивать, как птица, руками и что есть духу, задыхаясь и выпучив глаза, бе-

жать...

— Ага-га-га!.. Держи!.. Держи его!..

Э, куда там! На самом краю в последний раз обозначился черточкой поезд, родил белый тающий комочек — и только зубчатая синева, да теряющийся край земли, да синее небо, да неуловимо скользят по траве тени облаков.

Мальчишки, хохоча, хватаясь друг за друга, покатались по мягкой ласковой траве под откос, переворачиваясь, и весь мир в смехе и радости, как огромный шалун, перевортывался вверх ногами, и голубое небо, и золотое солнце, и деревья, и блеснувшие полоской рельсы. И все стало на свои места, когда шалуны очутились под откосом.

А там пошли по полю, и тут началось: незабудки, гвоздики, заячья капуста, белый ландыш, луковые длинные травы, — все путалось, оплетало ноги, все лезло, синело, зеленело, краснело, просилось в руки, безумно пахло и, захлебываясь от восторга и радости, кричало: «Меня, меня, меня сорви... Я вот!.. Только нагнуться...»

У Мишки от жадности разгорелись волчьи

глаза, головы не видно было в громадной охапке цветов и трав, которые с трудом нес.

— Ванька!.. О-о-о-а-у-у!..

— Го-го-го!..

И опять солнце, и зеленый простор, и шепчущие макушки, и неведомо куда уходящая полоска рельс... Нет-нет, и блеснут, как выроченная кем-то среди зеленых полей игла. По опушке тысячи голосов звенят, безудержно зовут, смеются сверху, снизу, из зеленой чащи, из синего неба, из травы, из кустов.

А дрозды! А синички! А зяблики!

А пересмешники-сорокопуть! И по-соловьиному, и по-воробьиному, и по-сорочьи, на все птичьи голоса, всех пересмеивают, всех передразнивают. А самый маленький сидит на сухой веточке и повиливает хвостиком.

Круглые, пушистые, распухшие зеленые кусты кишат всякой живностью. И у каждого — свой дом, свои заботы, своя песня, свое горе, свои страхи, своя любовь...

Мальчики, утопая в траве, лежали на спине в ленивой приятной усталости и следили за макушками, чуть шептавшими трепещущей белизной выворачиваемых на ветерке

листов. А над макушками облака, белые, круглые, не спеша и не отставая, плывут куда-то по своим заботам.

— Кабы да построить высококую колокольню до самых макушек, — говорит Мишка, и из травы виднеется лишь босая с обсохшей грязью нога, перекинутая на колено, — да выше макушек, до самых до облаков... Гляди, гляди, вон птица... Да. Залезть туда и глядеть вниз: которые пашут, а где железная дорога, а то города, а в городах народ ходит, и наша фабрика, и Созонт возле конюшни хомут шьет, и Каменная Баба сидит, и Козел, и ты их всех видишь, а они тебя не видят. А? Вот здорово-то, Ванька?

— А у нас нонче кисель с молоком.

Мишка помолчал, счищая ногой с ноги за-сохшую грязь. Потом поднялся, затянул веревочку от штанов:

— Как наелись, а опять хочется... Пойдем...

Уже нет ни железной дороги, ни телеграфных столбов, только поля, да перелески, да птицы, да облака.

Ваня остановился.

— Я бою-усь... заблудимся...

— Фу-у, заблудимся!.. Ежели идти на сход солнца, сейчас железная дорога будет... ее не минувешь...

— Это восток называется, учительница нам говорила в училище.

Мишка молча шел, потом угрюмо проговорил:

— Ну, так что ж!..

Из-за оврага глянули избы. И когда подошли, глянула невылазная грязь, полуобъеденные крыши, подслеповатые окна, выглянула почерневшая убогость, нищета и ветхость, которой было так много, которая так тесно сгрудилась там, в вонючих узких переулках, в угрюмых сырых домах. Но что-то было тут другое, и Мишка глянул на золотое, не дающее на себя глядеть солнце, на зеленую чистоту полей, на синеющий круг горизонта, которого никогда не бывает в городе.

Выскочила собачонка и, захлебываясь, стала провожать их, чуть не хватая за пятки. Отстанет, замолчит, и опять нагонит, и опять захлебывается из последних сил, как будто смерть ее пришла.

По-над тыном на сухом месте ребяташки

играли, тесно усевшись в кружок, а в самой грязи лежали, утопая в блаженстве, свиньи и сдержанно хрюкали.

Мишка нагнулся к крохотному оконцу, тусклому и мутному, как незрячий глаз, стукнул и проговорил тоненьким голосом:

— Дя-аденька, дай корочку хлебца, есть хочется... проходящим...

Ваня полуиспуганно, полувывжидательно стоял поодаль.

Тихо. Только листья шевелятся на чуть покачивающихся ветвях да старая, обвисшая с крыши солома шуршит, точно мыши ворочаются.

Мишка постоял и пошел дальше, но везде было то же: молчаливые тусклые окна, шепот листьев, да полуистлевшая почерневшая солома загадочно шуршит, залает собачонка, кое-где ребятишки играют, лежат свиньи в черной грязи, и все благословляет с высоты золотое солнце.

Из одной избы вышел крестьянин, огромный, в одной ситцевой рубаше и портках, с всклокоченной, в пуху головой:

— А?

Долго зевал и чесал спину, посмотрел на небо и опять долго зевал, широко раскрывая и крестя заросший рот, еще почесал спину и ушел в избу.

Пробираясь у самых плетней, прошли улицу, и глянуло поле, дальний перелесок.

Мишка остановился и сердито высморкался.

— Подошли, что ли!

У крайней избы старушка вытаскивала на веревке ведро из колодца. Старые, узловатые, дрожащие руки с трудом, медленно и редко перехватывали мокрую, туго перегибающуюся через сруб веревку, и в глубине что-то плескалось и стучало.

— Баушка, дай-ка пособи́м. Ванька, берись!

Ваня подскочил, и мальчишки торопливо, радостно и напряженно стали перехватывать быстро поползшую из колодца веревку, точно обрадованные возможностью потратить имеющиеся силы.

Плещущий звук все выше и выше, показалась дужка, и, бросая серебро воды, из темно разинутого колодца полезло ведро.

— Спасибо, родименькие, спасибо, род-

ные!.. Пожалели старого человека. Откуда будете?

— В город идем, баушка... городские мы. Вот, вишь, на поезд не попали, будем ждать.

— Ну что ж... подождите, зайдите в избу-то. Покормить-то вас нечем: чай, голодные.

В избе было темно, тесно, низко, кисло пахло овчиной и поросятами.

Старуха полезла в печь и достала черный горшок с остатками запекшейся гречневой каши; вытерла деревянные ложки пальцем и положила на стол. Ребятишки, как воробьи, принялись за кашу. Старуха сидела, подпершись рукой, глядела на них и покачивала головой, повязанной платком с торчащими заячьими ушами...

— Кушайте, родименькие... Либо в услужении?.. Охо-хо-хо, не сладко и в городе. Внуки у меня там, один в трактире, другой в печатне, жалуются, пишут... домой и урваться некогда... Деревня-то как вымерла, которые в городе, которые на поле... Прикончили нашу-то? Ну, слава богу, яичко бы дала, да все в город увозят, все в город. Вечером коровушка придет, да молочка и понюхать дома не приходится:

невестушка у меня сердитая да строгая, все молочко до капельки соберет и росинки не расплещет, — все в город... Наши-то ребятишки квасок пьют, кваском и пробавляются. Попейте кваску, попейте, квасок хороший, кисленький... Ну, так, все, с божьей помощью...

— Баушка, можно у тебя переночевать? А то нам утром на поезд.

— Ну-к что ж, ночуйте. Сена в сарае много, на сене выспитесь, только чтобы папироски не жгли, боже упаси и помилуй!..

Когда усталое, с добрым подернувшимся лицом солнце, на которое уже свободно можно было глядеть, тронуло розовато верхушки верб, деревня оживилась. Чмокая в грязи, шли важно коровы с полно белевшим выменем. Крякали утки, раскачиваясь, спеша откуда-то с пруда и не упуская случая проглотить по дороге камешек, кучку зерен, зазевавшегося жука. Прогнали лошадей. Потянулась телега, утопая по ступицу в грязи. И голоса стояли ясные, отчетливые в тихом розоватом вечернем воздухе.

Спать улеглись на сене в сарае, и уже звезды давно засматривали сквозь дырявую соло-

менную крышу, а ребяташки все не могли уснуть.

Особенная тишина, какой никогда не бывает в городе, не давала спать. И в этой тишине неподвижно и темно стоят избы, вербы, и на их ветвях черные комки спящих ворон. Где-то далеко в конце улицы лает собака, долго, упорно, не останавливаясь, как будто дело делает, потом и она замолчит, и в темной тишине — только мерный звук жующей коровы.

— Ванька, а этот мужик, что выходил, должно — колдун.

— М-м-м...

Ваня уже спит и не может разодрать глаз сквозь сладкий сон.

Сквозь неровно темную солому мигают звезды. Мишка смотрит на них широко раскрытыми глазами, — может, это души теплят свечечки, их и задувает ветром, а может...

«А они ползут...» — с удивлением и страхом думает Мишка, не шевелясь и глядя, как в дыре мигает то одна, то две, то несколько звезд, то опять смутно отсвечивает одно небо, без звезд.

И, стараясь смотреть и не давая смыкаться тяжелеющим векам, он мягко и против воли тонет в этой темной тишине, где давно потонули и избы, и вербы со спящими воронами, и потускневшие и расплывшиеся звезды.

Мишке казалось, что заснул только на одну минуту. Долгий, упорный, настойчивый гудок разбудил его. Мишка вскочил, точно укололи его и весь трясась. Ревела корова, и у Мишки отлегло. Он обхватил колена руками, ежась от холода.

В дыры глядело побледневшее небо. Мерно и звучно неслись прерывистые звуки — за сараем доили корову. Петух заорал. Разговаривали гуси. Ваня крепко спал, раскрыв рот.

— Ванька, вставай, пойдём... слышь, холодно.

Тот открыл на минутку веки и опять сладко завел их.

— Вставай, слышь, остолопина!

Мальчик поднялся, протирая глаза.

— Спать хочется.

— Пойдем, никак мужик воротился — сердитый.

Мальчики выбрались, ища глазами стару-

ху. Ее не было. Под навесом распрягал лошадей мужик в рваном армяке, и мальчуганы слышали его сердитый окрик: «Навела тут гостей...» Выбрались на улицу и пошли по дороге.

Утро торопливо будило просыпавшееся, загасившее уже звезды небо, лес с заспавшимися птицами. И трава, и кусты, и листья — все бело и влажно от густой росы.

— Ну, куда?

Мальчики остановились.

— Я ж тебе говорю — на восход солнца.

— Так восход вон.

Пошли в другую сторону, торопливо мелькая по дороге отдохнувшими бодрыми ногами. Ни железнодорожного полотна, ни телеграфных столбов, все то же просыпающееся поле, все те же сыплющие бесчисленными каплями росы кустарники. Деревни не видно.

— Эх, ты!.. Ну, куда?

Опять пошли.

Из-за верб блеснула широкая река. На той стороне стоял, отражаясь белым отражением, высокий берег.

— Де... э-э-э... о-о... э-у ду-у-у! — тонко, как

звонящий комариный звук, не то почудилось, не то на самом деле смутно, неясно пронеслось издалека, должно быть, из-под того берега.

Река проснулась и влажно и матово сквозила в тонкой синеве. Еще не поднималось солнце, но небо за лесом было совсем белое и лес синел зубчатой полосой. Вода влажно и мерно мыла белый, отмытый песок. На песке чернел челн, а возле возился дед, и шел дымок от костра.

— Дедушка, как нам на полустанок пройти?

— Ась?

Он черпнул деревянной ложкой из котелка, подул и попробовал.

— Хороша ушица... Ась? Стерлядки, сазанчик, ершишка какой — и тот пригож...

А с того берега уже явственнее:

— Де-е-е-ду-у!..

Голос был детский.

И вместе с голосом брызнуло из-за леса огнем, и река, как умытая, радостно развернулась неохватимой гладью до самого пропадающего за дальним лесом поворота.

— Ребятки, покричите ему, глупышу, покричите: принес ли крючья.

Ваня стоял конфузливо, не зная, надо ли кричать, или нет, а Мишка приложил ко рту ладонь трубой и завизжал пронзительно-диким басом:

— Крючья-а-а принес ли?

И гладь реки, принявшая в себя золотое, радостно взошедшее солнце, повторила много раз: «...не-о-ос-ли-и-и...»

И оттуда отозвалось:

— Прине-ос!..

— Ну, садитесь, поедem за ним. Ах, глупыш, глупыш, внучонок-то мой... Покричите ему, дескать, едем зараз.

Оба мальчика, надрываясь и стараясь кричать басом, заверещали:

— Зара-а-аз... зара-а-аз приедем!..

И опять светлая, ласково улыбающаяся гладь шаловливо повторила много раз:

«...а-а-аз... еде-е-ем!..»

От челнока бежали две светлые волны, а в нем сидело трое. Один с белой бородой и седыми добрыми бровями бурлил веслом светлую, весело игравшую воду.

Мишке казалось, что он еще спит и что снится ему — светлая река, и в реке ослепительно расплавленное солнце, и будто убегает берег, и далеко назад остаются хмурые темные дома, грязные вонючие переулки и вечный, неумирающий гул вместе с дымной мглой, изо дня в день прерываемый лишь ровным, настойчивым, не знающим ни отдыха, ни пощады гудком... Далеко все позади, меркнет, тает.

Мишка поднимает глаза: солнце над лесом, тепло, и в играющей воде все ослепительнее, все нестерпимее плавится золото, и уже совсем надвинулся белый обрывистый размытый берег, косо отражаясь в неуловимо прозрачной глубине таким же белым, размытым, опрокинутым отражением. И, так же отражаясь, сидел у самой воды мальчик с мешком на плечах.

Челнок ткнулся в берег, и отражения задрожали, запрыгали, уродливо вытянулись и помутнели. И уже не было бездонной глубины, а бежали стекловидные морщины и лизали крутой берег.

Мальчуган прыгнул в живой, закачавший-

ся, вот-вот готовый черпнуть челнок.

— Ну, что? — проговорил дед и напряжился, упершись и отпихиваясь от берега веслом.

— Два хлеба принес и крючья. У тетки Матрены корова отелилась — бычок.

И пока один берег убегал, а другой бежал навстречу, мальчики сидели молча, искоса и исподлобья оглядывали друг друга. Хотелось заговорить — и не умели.

Только когда обсели котелок и стали хлебать дымящуюся уху, Мишка, прожевывая хлеб, проговорил:

— С дедом рыбачишь?

— Рыбачу, — коротко ответил мальчик, все не умея освободиться от связывающей конфузливости в присутствии незнакомых. Но потом набрался смелости и проговорил:

— А этот из городу? — и кивнул на Ваню, привлекшего его своей одеждой.

— Оба из города, — проговорил Мишка, — фабричные.

— Так, так... всякому свое. — Дед вытер усы. — И фабричному тоже бывает ничего: гляди, сапоги с набором купит, а то гармонию, играй себе по праздникам...

Мишка торопливо положил ложку, вытер губы и, наморщив лоб, проговорил убедительно:

— Дедушка, я у тебя останусь... буду помогать, рыбачить стану.

Дед добродушно ухмыльнулся в бороду.

— Миляга, а у тебя нет родителей, что ли?.. А есть, разыскивать зачнут, зараз становой налетит, накостыляет деду шею. Просторно, и река, и солнышко, а тоже и у нас тесно, ух, как тесно!.. Рыбки наловим, все в город тянем, в город и в город, а как цены нет, и толку нет, только что в город возишь.

— А мы, дедушка, в городе живем — ни рыбы, ни молока, ни яиц и не видим.

— И без вас съедят... Скушают за мое почтение.

— Мы одного видали, дедушка: рота-астый да толстый, за стеклом сидит, пасть разяват...

— А зубы че-черные!..

— Пасть разяват, а ему туда мясо кладут, хлеб, а которые служающие льют ему туда пойло же-олтое, вроде как лимонад, а он все глотает.

Дед почесал бороду.

— Они горазды... это они могут, на панском положении.

— Рестораном называется... — проговорил Ваня.

Потом все трое купались, шая и возясь в серебристой туче брызг. Дед с внуком выехали на реку, и неподвижно чернеет их челнок на светлой глади. Мишка с Ваней голые бежали по берегу, гонялись за мальвой, разыскивая раковины, или валялись на горячем песке.

— Дедушка-а!.. — от времени до времени кричали мальчики. — Можно хлебца?

И светлая река доносила добродушно:

— Ну-к, что ж?.. Скушайте на здоровье по ломтику.

А когда солнце стало клониться к полям по другую сторону реки, дед сказал:

— Ну, ребятки, надо вам и до дому. Будет шалыганить... Возьмите сушеной рыбки, хлебца да с богом. Отседа направо березнячком, а за березнячком станция, попросите начальника в красной шапке, — он даром вас довезет.

На станции Мишка снял шапку, приложил

руки к животу и, глядя снизу вверх, говорил гнусавым голосом начальнику:

— Пожалеейте, ваше благородие, сироток... дозвоьте проехать до города... Ни папы, ни мамы...

И столько в его лице было плутоватой заячьей хитрости, что начальник, улыбаясь, заметил кондуктору:

— Посадите, что ли.

Когда поезд тронулся и полетели поля, домики, будки, столбы, зеленые откосы, мальчишки не могли оторваться от окон.

— А... Ванька, гляди, как чешет!..

И с этой громадной быстротой, точно скашивавшей все встречное, радостное, неодолимое волнение охватывало Мишку.

— А?.. Ванька!.. Теперь я из поезда и вылезать не буду...

Полетели навстречу дома, улицы, экипажи, толпы народу, — надвинулся город, и, когда вышли из вокзала, поглотил их муравейник кипевшей жизни.

Среди уличной непрерывной оглушающей сутолоки встал роковой вопрос: что дальше делать? Мишка остановился, поскреб в голо-

ве. Ваня, испуганно озираясь, протянул:

— Надо домо-ой.

Но Мишку осенила новая мысль.

— Слышь ты... все одно по дороге... зайдем к Миколе Мокрому... на колокольню, наберем турманов... Твой Козел любит; скажешь ему: хоть проходил, да турманов принес, а они денег стоят...

Мишке мучительно хотелось оттянуть время.

— По-оздно!..

— Чего поздно! Говорю — по дороге... все одно... Только скорей, пока колокольню не заперли.

— Ну, ладно, а потом домой.

Мальчики торопливо пошли среди непрерывно движущейся толпы.

Из церкви несло согласное пение, мигали свечи, пахло запахом человеческих тел и ладана. Из-за дверей не слышно было, но, должно быть, что-нибудь говорил поп или дьякон, потому что головы у всех точно погнуло ветром, стали кланяться и опять — неподвижные спины, и согласное пение, и запах пота и ладана.

Мишка оглядывался. На паперти стояли нищие. Ночь торопливо густела, и в темноте тонули главы, выступы и украшения. По улицам зажглись фонари.

— Пойдем, — дернул Мишка Ваню.

Они пошли к маленьким дверям колокольни. Старик сторож, кряхтя, спустился и пошел к паперти. Мальчики шмыгнули в двери, ощупью поднялись по лестнице. На повороте присели в уголке и стали ждать.

Темно, хоть глаз коли. Наверху мерещится слабый, неуверенный отсвет, должно быть в пролеты окон. Снизу доносится неясное, неузнаваемое пение.

Ухо чутко ловит скрипучие стариковские шаги, тяжелое, немного хриплое дыхание; поравнялось; потом выше, слабее; смолкло. Постояла тишина. И вдруг колокольня дрогнула, дрогнула тягучим глубоким дрожанием, и стены, и ступеньки лестницы, и спины, и руки, и головы мальчиков, — и в ту же минуту, наполняя огромную ночную тьму медлительным гудением, загудел колокол. Как будто не было ни церкви, ни пения, ни людей, а только тяжко гудящие, заполняющие ночь удары.

Мальчики сидели, зажав уши, раскрыв рот, — больно отдается в голове.

Последний удар, и смолкло, но все еще стоит медлительно гудящее колебание. Скрипучие стариковские шаги спускаются вниз, и бежит неровная гудящая волна. Захлопнулась дверь, загремел замок, и все колеблется тяжелая тьма, смолкло пение внизу, погасли огни, разошлись люди, в темноте церковь, но еще колеблется неуловимым колебанием неутомонная медь. Наконец смолкла, но у мальчиков в ушах все еще нежно и мягко звучит, как далекое воспоминание, и не хочет погаснуть.

Мальчики поднялись до самого верха. Над головой мутный чернеющий край темной меди. Неясно вырезаются пролеты окон, а в пролетах в океане мрака — бесчисленные огни города.

Беззвучно, неровным мягким полетом что-то темное влетело и так же беззвучно-немо стало трепетно порхать над головами, скорее ощущаемое, чем улавливаемое глазом в темноте.

И этот беззвучно-трепетный полет разбу-

дил страх, и он пополз сосущей мелкой холодной дрожью.

— Это — не голуби, — едва шевеля губами, проговорил Ваня.

Мишка и сам знал, что не голуби, — у тех резкий звенящий полет, а это скользило, как тень смерти.

— Уйдем!..

Прижимаясь и держась друг за друга, стали спускаться в глубокой неподвижной темноте, как в колодец. Нащупали дверь, — она была тяжела и неподвижна. Сколько ни били, звук тяжело и глухо умирал, как в подземелье.

Тогда пронесся высокий, резкий крик:

— Дяденька, пусти-и!..

Было немо, глухо, безответно.

— Дяденька... дяденька... дяденька!..

Кричали два голоса, били что есть силы ногами в дверь, — было все так же немо, глухо, безответно.

Возле молчаливо стояла темная церковь с огромной пустотой до самого купола, и эхо наводило особенный ужас.

В темноте прополз дрожащий шепот:

— Подыдемся наверх... страшно тут!

Держась друг за друга, нащупывая руками ступени, поползли наверх, и когда среди крошечной темноты смутным, едва ощутимым отсветом обрисовались пролеты окон, а в них бесчисленные огни города, стало легче. Прижимаясь к холодному камню, держась за парапет, оба не отрывали глаз от огней.

Над головами перестало порхать, только края темной меди тяжело выступали, и было неподвижно, темно и немо.

Может быть, прошел час, может быть, два, может быть, пять. Иногда в вышине пробирался ветерок, и тогда шевелились веревки, и с тоненьким повизгиванием звучала медь.

Мишка напряженно глядел в окно, стараясь подавить страх представлением обыкновенного и виденного, — барыня надутая с гнездами на голове, бари в ведре, огромная жующая пасть с почернелыми зубами, зеркальные окна, магазины, трамвай, — и не мог; было непонятное, загадочное и незнакомое.

Тысячи тысяч огней горят и мерцают, как бесчисленные звезды, и нет им конца и краю.

Океан мрака лежит, придавив город, едва приподнимаемый отсветом огней, а они так же равнодушно колеблются и мерцают, неизвестно где теряясь за молчаливо и неподвижно спускающейся чернотой ночи. В темноте шепот:

— Слышишь?

— А?

Прислушались. Над огнями — гул, глухой, тяжелый. Тысячи людей спали под бесчисленными крышами, которые смутно чудились в черноте среди огней, и непрерывный, невидимо грохочущий, ни на минуту не потухающий подавленный гул.

Там над фабриками носился непрерывный гул, но то был определенный, каждодневный здоровый звук незамирающей работы. Здесь среди ночи, среди молчаливо мерцающих огней этот накатывающийся задавленный мертвый грохот поднимал неодолимый страх...

— Спят?..

— Нет...

— Слышишь?

— А?.. Что такое?

Дед с изумлением смотрел на двух свернувшихся комочками от утреннего холода и прижавшихся друг к другу мальчиков.

— Что такое, прости господи?.. Али наваждение!.. — И он протер глаза.

Мишка первый проснулся и вскочил на ноги, не понимая, где он и что с ним. Глянул в окно: в радостном утре без конца и краю уходили в голубовато-задымленном воздухе бесчисленные крыши.

— Ванька, слышь, ну, вставай!

— Да вы зачем тут?

— Дедушка, да мы... за голубями...

И, не оборачиваясь, замелькал вниз по лестнице.

— Ах, шалыганы, шалыганы!.. Нашли место... тут только нетопыри да летучие мыши... Ах, шалыганы, шалыганы!.. Ступайте, ступайте!..

Радостно и весело отдались мальчуганы набежавшему на них внизу шуму и уличной сутолоке, торопливо идя по тротуару. Но когда улеглись первые впечатления проведенной ночи, остановились.

— Теперь домой, — решительно заявил Ва-

ня.

А Мишка:

— Слышь ты... Ежели придем сейчас, — утро, и нас целый день будут драть, а ежели к вечеру, ну, выдерут раз, ну, два, и все, надо спать. Али не так?

Ваня и сам видел, что так, и стоял, беспомощно озираясь.

— Ну, все одно. Семь бед — один ответ.

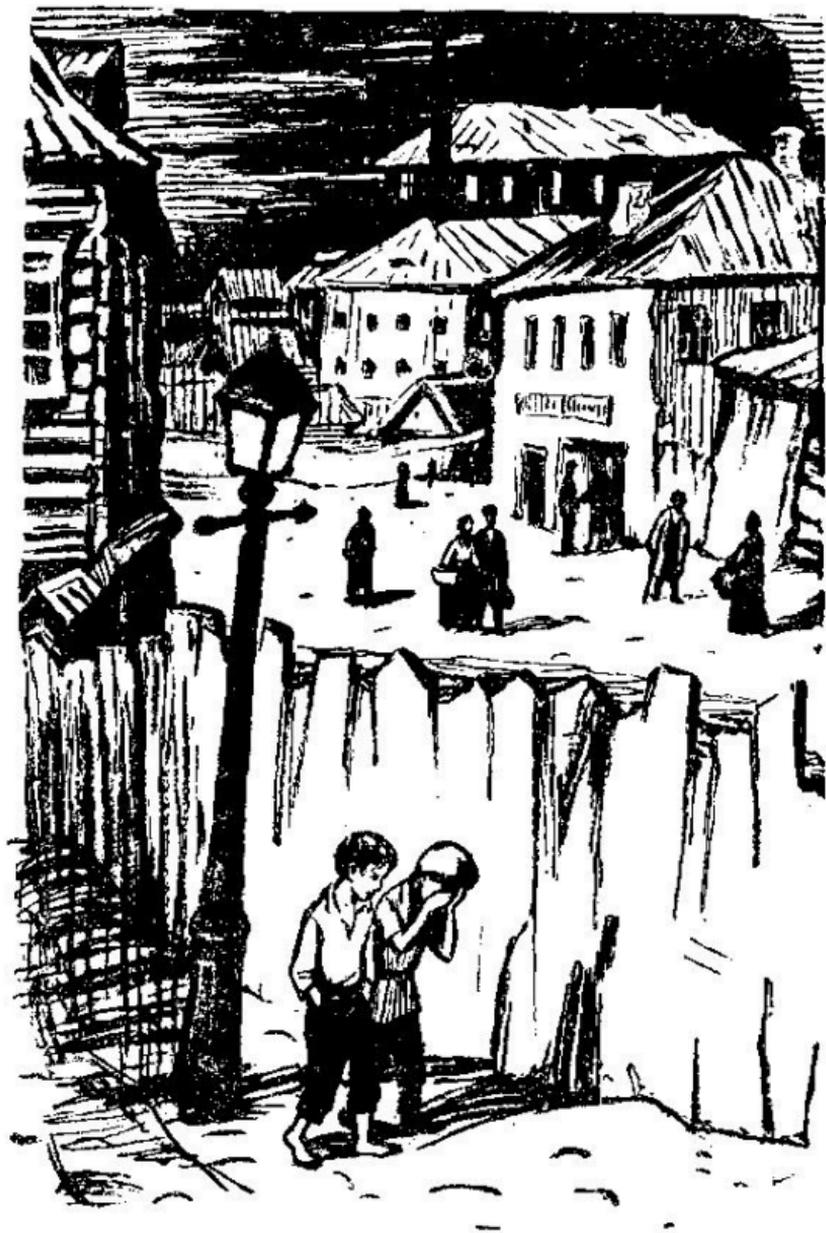
— Так давай твои тринадцать копеек проедим, — подхватил Мишка.

Пошли, проели и опять целый день болтались по улицам, а когда солнце стало прятаться за крышами, тихонько и нехотя, хмурые и молчаливые, пошли домой.

Из-за домов, из-за крыш, рисуясь на дымном небе, вставала высокая черная знакомая труба, и дым, крутясь, валил из нее. Стлалась мгла и над домами, и над улицами все тот же знакомый несмолкающий гул. И сквозь эту

**Ваня... остановился, закрыл лицо и горько заплакал.**

мглу и сквозь этот гул глядело медное и тусклое заходящее солнце.



Мишка с удивлением остановился. Как будто в первый раз видел этот мертвенно-тяжелый дым, слышал этот мертвенно-тяжелый гул. Он постоял, вздохнул и проговорил угрюмо, скрипнув зубами:

— Идем.

Вот уже знакомая пивная с выбитыми стеклами, вот казармы служащих. Ваня шел все тише и тише, остановился, закрыл лицо и горько заплакал.

— Ну, разнюнился. Ну, чего?

— Да-а, че-его?.. — плаксиво тянул мальчик. — Че-го? Бить будут... бить буду-ут, на коленки поставят...

Мишка злобно засмеялся.

— На коле-енки!.. — протянул он. — Дурак!.. Чего думал раньше? Не ходил бы. Ишь спохватился. Так тебе и надо. А как драть-то будут, — с злобной радостью, захлебываясь, заговорил Мишка, — уж так драть, так драть будут!.. Шкуру всю спустят, ни стать, ни лечь... Ах, и драть же тебя будут!.. А-а... сахарный!.. Мать твоя сядет тебе на ноги, а работника заставят за волосья держать, а отец зачнет тебя драть, зачнет тебя драть, он у тебя

здоровый... Ух, и драть же будут!..

Мишка кривлялся, изгибался, прыгая, скакал перед Ваней, а тот неудержимо рыдал, сдавливая руками грудь.

— Го-о-осподи... да... да... что же э... это... да... за... за... что же... э... это!..

— Молчи!.. — вдруг завизжал Мишка и, как зверенок, кинулся к нему со сверкающими глазенками и сжатыми кулаками. — Молчи, пададь!.. А то укушу!..

Ваня попятился, глядя испуганно расширенными глазами и не узнавая перекошенного злобой лица своего приятеля.

— Жидок на расправу. Ступай за мной!

Мишка пошел вперед, размахивая руками, а Ваня послушно за ним, сдерживая всхлипывания и украдкой вытирая вспухшие красные глаза. Он глядел в худенькую спинку Мишки, на его качающиеся руки, и Мишка казался высоким, сильным мужиком, с которым никуда не страшно, но которого не нужно раздражать.

Когда подошли к Ваниной лавке, Мишка обернулся и сказал:

— Постой на крыльце. Я пойду сперва.

Ваня остался на крыльце. Мишка вошел в лавку, торопливо, беспокойно и, ничего не пропуская, ощупал ее глазами. За прилавком стоял знакомый Мишке благообразный человек с седеющей острой бородкой и злыми, бледно раздувающимися ноздрями. Хозяин так же подозрительно, торопливо, точно обыскивая, ощупал Мишкину фигурку колючими, маленькими, залезающими всюду глазками.

— А?.. Тебе чего?

Под этим пристальным колючим взглядом Мишку охватило чрезвычайное желание исчезнуть за дверьми, но усилием воли он подавил его и, весь напряженный, как сжатая пружина, подобрался к стойке, остро следя за каждым движением хозяина, и одним духом проговорил, злобно блестя глазами:

— Ваньку вам привел, слышь?.. Завел я его, сам... он просился, плакал, а я не пускал, завел... все я... сам... он не виноват...

Бледные тонкие ноздри хозяина все больше раздувались, колючие глаза впивались, и медовый голос ласково проговорил:

— А?.. Не дослышу... Подь сюда, родимый...

Мишка все так же остро-напряженно караулил малейшее движение хозяина, но от того ласкового голоса что-то мягкое прошло по душе мальчика, и он незаметно для себя придвинулся к стойке и опять заговорил, стараясь быть убедительным:

— Я Ваньку вашего завел, сказываю... Он не хотел... все я...

И не dokonчил, — голова замоталась в бледных крючковатых пальцах хозяина.

— А-яй-яй-яй!.. июуу!.. — визжал Мишка, выдираясь, на секунду замолчал, и в хозяйскую руку глубоко и остро влезли Мишкины зубы.

— А-а-а-а!.. Змееныш... — завыл, в свою очередь, хозяин, а из пальца, который он тряс в воздухе, торопливо и ярко капала кровь.

Мишка рванулся головой, оставил в хозяйской руке пук волос и, как резиновый, отскочил к дверям. По дороге, впрочем, ловко успел толкнуть ногой со звоном разлетевшуюся стеклянную банку, плюнул в кадку с маслом, дернул за связку бубликов, которые рассыпались по всему полу, и, словно его выдуло ветром, исчез из лавки.

— Ах, мошенник!.. Ах, разбойник!.. Погоди... я те... — донеслось сзади, но он уже как буря пронесся мимо оторопевшего Вани, которому кинул: «Ступай, мозгляк... ничего не будет...» — исчез за углом.

Мишка прыгал через засохшую грязь, через рытвины, ухабы никогда не починяющейся изуродованной мостовой, но, чем ближе к дому, тем неохотней и медленней работали ноги.

Немытыми, темными, кое-где разбитыми окнами глядел среди других таких же домов трехэтажный, с облупившейся, грязной, осыпавшейся штукатуркой дом, где Мишку ждало... Он не хотел думать — что, сморщился и почесал ногой ногу.

«Чтоб ты провалился!..»

Подошел к входным дверям, в которых угрюмо темнела в пролете лестница, и долго стоял, почесывая пяткой ногу, опустив глаза, упорно глядя в землю.

«Убьют!»

Он поднял глаза, и темная лестница угрюмо и недоброжелательно глянула на него, подтверждая: «Да, убьют...» И эти грязные, с

осыпавшейся штукатуркой стены говорили то же, и разбитые чернеющие глазки окон, и стеснившиеся отовсюду дома.

Было пусто, только непрерывающийся гул неустанно наполнял переулок да в водосточных трубах возились воробьи.

И опять стоял и смотрел в землю и на обсохшую на босых ногах грязь.

«Долго бегал... три дня!..»

Лицо его окаменело, судорожно сведенные мускулы окостенели, в маленьких сощуренных глазах горела холодная искра непотухающей злобы, а в сердце знакомый комок тяжелого, жестокого, ничего не прощающего ожесточения.

Стиснув зубы, с раздувающимися ноздрями, спокойно стал подниматься по угрюмой, все о том же молчаливо говорившей лестнице, потом пошел по коридору. И он был длинный, темный, знакомый и вел к одному страшному месту: к неподвижно темнеющей немой двери. Она, казалось, молча ждала Мишку, чтобы плотно захлопнуться за ним и придавить его крики и вопли.

У двери он остановился, с тоской, отчаяни-

ем бегая глазами по темному, равнодушно тянувшемуся коридору, и вдруг неожиданно для самого себя напряженно потянул дверь, и она с тонким, злорадно скрипящим повизгиванием отворилась.

Первое, что увидел, была мать. Она что-то делала в углу, и спина у ней была худая, согнутая, как у той старушки, а ведь мать гораздо моложе. Что-то стукнуло мальчику в грудь, — не то жалость, не то удивление, как будто в первый раз увидел. Но сейчас же злобное ожидание и готовность до краев наполнили ожесточившееся маленькое сердце. И Мишка стоял у двери, злобно глядя исподлобья сверкающими глазами.

А маленькая Нютка всплеснула ручонками и весело прокричала тоненьким голоском:

— Ай, Миска плисол, залаз длать его будут!..

Детишки столпились вокруг.

Мать обернулась, и глянуло измученное, исстрадавшееся, изрезанное морщинами лицо, а с этого измученного лица глянули такие же измученные, красные, вспухшие от слез глаза. И, всхлипывая и не удерживая катив-

шихся слез, она пошла к нему, протягивая дрожащие руки:

— Сы-ынок... сы... сы-но-чек!..

Мишка растерянно бегал глазами по углам, чувствуя, что не умеет удержать, словно горький дым рассеивающееся, ожесточение, удушливо переполнявшее его сердце. И, когда мать прижала его голову к своей груди, он вдруг усиленно заморгал, не давая воли едко и щиплюще просившимся на ресницы слезам. И, справившись, громко высморкался, нахмурился и проговорил толстым голосом:

— Никак Малафеевская фабрика опять работает.

А мать прижимает его, качает, как маленького, и, ничего не слушая, только твердит:

— Сы... сы-но-чек... сы-нок мой... не думали... не чаяли живого увидеть... Отец... отец теперь...

Так они сидят, забыв обо всем, а ребяташки полуиспуганно, полуудивленно жмутся в уголок, глядят оттуда, перешептываются и зажимают друг другу рты.

— Мамка, а в городе девки да бабы перетянут себе живот в рюмочку да ходят, чистые

Осы.

Он на минутку отодвигается, смотрит на мать, на ее изборожденное морщинами, слезами, горем, нуждой лицо, и что-то больно кольнуло его.

— Мамка, а старая ты.

Он хотел не то сказать и, стараясь поправиться и не умея, проговорил:

— А там в городе-то все гладкие да красно-мордые ходят...

Лицо матери тронулось усталой, измученной улыбкой:

— Старая, старая, мой родной, без время старая... Ты садись, — чай, голодный, покормлю я тебя, чайку поставлю, скоро отец придет.

Комнатка точно посветлела, было уютно и тепло, на столе в клубах пара весело о чем-то рассказывал самовар; ребяташки, как мухи, обсели вокруг стола и глядели в рот Мишке, который усердно жевал и рассказывал:

— Мамка, а как с колокольни фу-у да и страшно на город смотреть... ночью, только и слышать: гал, гал, гал, гал — и больше ничего... А бабушка сказывает: яйца выделываются в деревне, а едят их в городе, а мы тут их и

не нюхаем... И отчего это вода в реке там чистая да светлая, камушки на дне видать, а у нас возле фабрики как из бани?.. А сколько рыбы!.. Я трошки не поймал...

— Да и у нас есть, — хором подхватили ребяташки.

— Да-а, есть... Тут которая и есть, так она брюхом кверху плавает...

— Есть!.. Я сам ловил...

— И я ловила...

— Лови-или!.. Дохлую ловили...

— Ан врешь, — она трепыхалась...

— Сама врешь... а то вот как дам по роже...

— Ну, будет, будет... — остановила мать, — обрадовались.

Уже сумерки. На стене тоненько коптит лампочка. За потемневшими окнами звучит усталый, дрожащий гудок умирающего рабочего дня. Мертвый, пустынный коридор оживляется, хлопают двери, слышатся шаги, говор, с улицы доносится движение, — возвращаются с работ.

Пришел отец. В комнатке смолкло и словно потемнело. Мишка весь сжался, исподлобья только глаза сверкают, ребяташки прита-

ились.

Отец молча, как всегда, снял рабочую блузу, умылся и, утираясь, бросил:

— Бегун...

И помолчав:

— Откуда явился?

Мишка стоял, глядел исподлобья.

— А мы розог нарезали, посолили... Я ремень ха-а-ро-ший приготовил...

Сердце больно и радостно стукнулось в груди мальчика раз и два. Сквозь обычный, сурово равнодушный тон он чутко уловил, как непривычно дрожал голос отца, и, как вырывающаяся птица, забилась, затрепетала сверкающая радость. Да разве есть у Мишки враги?! Разве не чудесно жить на свете... Разве не греют эти добрые, усталые, глядящие из глубоких впадин отцовские глаза?..

Мишка сделал шаг к нему и часто-часто заморгал, сгоняя ресницами что-то едко и радостно проступавшее на глаза. Потом справился с собою и, глядя боком и хмурясь, проговорил толстым голосом:

— А малафеевцы-то нонче никак опять работают.

Сквозь печать всегдашней суровости по лицу отца шевельнулась редкая гостья, улыбка.

— Ну, ну, ну... ты зубы-то не заговаривай... ужо я те вспрысну, чтоб ноги меньше резвые были... Мать, давай-ка вечерять...

Опять обсели стол. Отец хлебал из миски, а ребятишки принялись снова за чай, совершенно белый, откусывая крохотные кусочки сахара, без хлеба, без бубликов, потому что был конец месяца и оставалось несколько дней до получки.

Точно по молчаливому соглашению никто не заговаривал о Мишкином побеге.

Отец, когда поел и мать придвинула к нему стакан пустого белого чая, стал рассказывать, что сегодня в набивной ставили новую машину, а в ткацкой выскочившим челноком выбило рабочему глаз, и что Китай собирается воевать с Англией, что приезжал директор фабрики, разносил управляющего, мастеров за то, что на рабочих много расходуются денег.

Когда отец сказал это, спокойно попыхивая папироской, мать вдруг оставила посуду,

обернула задержавшееся от злобы лицо и стала кричать злым тонким голосом, в котором дрожали слезы, что они и так издыхают с холоду, что все директора — ироды и анафемы, кровопийцы, и кричала долго и громко, как будто директор был в этой темной, дымной, придавленной комнате.

Стояла тяжелая, мутная, не рассеиваемая отсветом уличных фонарей тьма; все давно спали, только Мишка все ворочался в углу под своими лохмотьями. Наконец сел, прислушиваясь. Тренькал сверчок, сопели и подсвистывали в сонном дыхании дети, и еще какие-то звуки, странные, неопределенные, но дружелюбные в этой родной обстановке, ползали смутно и неясно в темноте в комнате и за окном.

Мишка поднялся и прокрался к отцу. В темноте смутно и бессильно белела свесившаяся неподвижно рука, и было близко сдержанное, негромкое дыхание, выделяясь из других звуков.

Мишка постоял, потом нагнулся:

— Батя... а батя?..

Все та же мутная темнота, все те же смут-

ные, не ясные, беспокойно ползающие не то в комнате, не то за окном звуки, и сверчок, и дыхание спящих.

— Батя!..

Белевшая рука шевельнулась.

— А?.. Ты чего?

И немного погодя:

— Ложись... завтра рано вставать... Спи, шатун...

И опять мутная тьма, заполненная сонным храпом, сопением, вздохами, сверчком, кислым, густым воздухом...

Мишка постоял. Хотелось прижаться щекой к руке отца и не то засмеяться, не то заплакать. Он еще постоял, почесал спину и среди мутного отсвета фонарей, среди неясных, неуловимых ночных теней и звуков прокрался в свой угол, лег, прислушался: город сдавленно доносил: «Гал, гал, гал!..»

«Не спят», — подумал Мишка, мягко и сладко теряя мысли, точно кто-то торопливо ткал паутину, затягивая лицо, веки, слова и усилия, и где-то далеко так же мягко, любовно и ласково тонуло:

— ...а?.. спи, спи, шатун!..

# ЧЕРНЫЙ ТРЕУХ

Я вышел держа в руках небольшой саквояж, на платформу, и суতোлка, обычная, торопливая, такая же, как год, как десять лет назад, охватила. Недремлющая, ни на минуту не останавливающаяся жизнь делала свое.

Я попал в поток пассажиров дачного поезда, спешивших по скрипучему снегу к трамваю.

Гимназистки из пригородных зимних дач, придерживая красными, как гусиные лапки, руками книги, резво бежали, бесцеремонно расталкивая и обгоняя. Чиновники уныло шагали на опостылевшую службу. Торопились молочницы с цинковыми кувшинами, продавщицы, кассирши с молчащими лицами, на которых невытравима негаснущая надежда, что еще как-то устроится жизнь, улыбнется счастье.

— Господин, дозвоьте поднесу, — не гармонируя с окружающим, доносится тоненький голосок.

Опускаю глаза: мальчуган в закрывающем уши треухе смотрит снизу чудесными детски-

ми глазками, и нежное личико порозовело от холода.

— Нет, голубчик, не надо.

И я слышу вызывающий, совсем другой голос:

— Вам трех копеек жалко, а мне на хлеб заработать!

Я останавливаюсь, и на меня сверкают глаза оцетинившегося волчонка.

— Ну ладно, ладно, неси. Да справишься ли?

Мне кажется, ему лет восемь.

— Сколько тебе лет-то?

Он, напрягаясь, но смело и ловко вскидывает саквояж на плечо, ставит руку фертом, упершись в бок, и рысцой пускается между пассажирами так, что я прибавляю шаг.

Около трамвайных путей густо темнеет публика, и в каждый вагон рвутся приступом.

Мой носильщик останавливается и говорит:

— Вам тут долго ждать. Идите за мной, — и, но дожидаясь ответа, торопливо заскрипел снегом вдоль пути.

— Постой, ты куда же?

Он, не останавливаясь, продолжает идти. Делать нечего — я за ним.

— Покуда они тут будут драться, я вас на той остановке посажу, — кивнул он, не поворачивая головы и все так же поддерживая саквояж, упершись рукой в бок. — Тут часами стоят, дожидаются, а того, дураки, не поймут, — пройди от вокзала назад пятьдесят сажен и садись в пустой вагон.

Я замедляю шаг, — вдруг хочется побыть подольше на этой широкой улице, наполненной живым, колеблющимся дыханием людей и лошадей. Кругом — красные лица, запущенные бороды, усы, а вдали, в морозной синеве, теряются заиндевевшие деревья, побелевшие дома.

— Эй, поберегись!..

Мимо проносится, кидая под голубой сеткой снежные комья, сытый, в попоне, рысак, задастый, сытый кучер и в огромной енотовой шубе совсем утонувший седок.

***Мальчик, не останавливаясь, продолжает идти.***

— Так сколько ж тебе лет?



— Одиннадцатый.

— Кто родители?

— Родителей нет: у меня мачеха. Не кормит, не одевает — как хочешь. А ночевать пустит, ежели хлеба детям принесешь.

— Где же ночуешь?

— Кое на вокзале, кое всю ночь на улице пробегаешь, чтобы не замерзнуть. А больше на вокзале. Только я их меняю, а то сторожа запримечают, гонят: одну ночь — на одном, другую — на другом, так чередую. Да и работенка все больше на вокзалах попадается: кому вещи поднесешь, кому за извозчиком сбегашь. Носильщики дюже не любят, зараз поймают за ухо и оттаскают, аж в голове перевернется, — хлеб у них отбиваю. Ну, да я насобачился, ловко из-под самого носа господ с вещами обираю. А мне что? Заработал шесть копеек, — в харчевню. На три копейки супу, на две копейки хлеба, на копейку чаю. Суп уж очень вкусно с морозу. Не ем сразу, а распояшешься, поешь-поешь, положишь ложку и посидишь. У самого брюхо выворачивает, — нет, шалишь, пососи зубы-то. А то что за радость: слопал, моргнуть не успел, — и нет ни-

чего. Потом докушаешь суп, хлебушка поешь, когда и ситничка, я хлеб-то врозь от супу ем. Потом чайку. Даже хозяин серчает, гонит: «Куда ты, несытая утроба, льешь в себя, по пяти часов тут сидишь, пошел!» А я вправду: носят и носят мне чайник, — кипятку в тую копейку сколько хочешь дают.

Он заразительно засмеялся, подняв на меня чудесные детские глаза. За розовыми щеками и красным от мороза носиком проступало испитое побелевшее личико.

Улица помертвела и стала пустынной. Возле остановки тоже стояла, дожидаясь, публика, потопывая озябшими ногами: трамвая не было.

— Нате, подержите, зараз узнаю.

Я взял саквояж, и мальчуган пустился наискось, через площадь, и затылок, обтянутый треухом, чернел уже возле городского. Видно, как, размахивая руками, заставил себя слушать, а через минуту, весело, по-детски дыша от торопливого бега, докладывал:

— Красный крест задержал, выгружают раненых. Дозвольте чемоданчик.

И опять поставил на плечо и, поддержи-

вая, подбоченился.

— А отец у тебя где же?

— На войну угнали. При отце-то что! При отце я в школу ходил. Мачеха у нас ничего, — тихая и работница. Отец — на фабрику, она шитво брала. А как угнали отца, стала костлявая да злая. Двое у ней от отца-то да нас трое; я — старший. Вот и говорит: «Уходи куда хочешь», — не дает есть. Ну, да сегодня зайду, посмотрю, как и что, хлебушка понесу. Ей с четверыми не управиться. Привяжет маленького за ножку к кровати да уйдет на работу. Костлявая дюже стала — поди, помрет. Матка тоже худа-ая была да ночью, все спали, как крикнет; прибежали мы, а у ней рот отвалился, — уж холодная. Давно, я еще маленький был. Завтра к Хамовникам пойду. Живет там один, отцов друг, брата у него угнали, — так списки ходит просматривает. Отца убьют, либо уж убили.

— Ну, почему же уж так?

— Нет, убьют, непременно, — по-детски спокойно сказал он, глядя в даль помертвевшей улицы. — Я иной раз подберу газету — господу бросают — и читаю списки убитых, —

ну, пока нету.

— Да ведь в газетах печатают только списки выбывших офицеров.

— Так что ж... Может, его произвели в офицеры и убили; теперь много производят. Он — смелый, отец-то. Прямо кинется в лоб. Никак ваш идет? Ваш и есть! Ничего-ничего, вы влазьте, чемоданчик я подам.

Он довольно потрянул на ладони серебряные монеты и, не глянув на меня, повернулся и побежал к вокзалу: ладно, мол, не милостыня, заработал.

Вагон дернулся, улица побежала. Я долго смотрел — кто-то оттаял дыханием круглую дыру в замороженном окне — на мелькающий черный треух, туго обтягивавший маленький затылок.

# СТЕПЬ И МОРЕ

**В**се как было: ослепительно белеют у воды две мазанки, чуть пошевеливаясь, мерным сверканьем сверкает морская гладь, белеют намытые с ракушками и рыбьей чешуей пески.

Вдоль берега стоят пустынные истрескавшиеся глинистые обрывы. А за обрывами — жаркая бескрайная степь.

Маленькое колючее солнце смотрит на море, на степь, на шевелящиеся на кольях сети, и с бортов опрокинутой у самой воды лодки капают черные слезы.

В тени ее сидит, раскрыв клюв и развесив крылья, ворона, а в неуловимо-горячем, почти без синевы, небе медлительно плавает коршун.

Голубые ставни у мазанок плотно закрыты, закрыты и двери. Никого. Одиноко шевелят по соломенной крыше слабую сквозную тень вербы. Ни пристроек, ни сарайчика, — пусто, бесхозяйственно, только весла стоят, прислоненные к стене.

В степи по балке раскинулась слобода: бе-

леют хаты с причесанной соломой на крышах, виднеются сады с объединенными червем яблонями; огромные вербы в левадах покрывают тенью степную тинистую речушку, а в ней лежат свиньи, белеют гуси.

В слободе тоже никого, наглухо закрыты ставни, — народ в степи на работе. Повсюду видна забота, хозяйственность — сарайчики, хлева, курятники. На затрушенных соломой дворах рогато торчат плуги, полинялые, истрескавшиеся от солнца веялки, конные молотилки, арбы. Чернеют запасные стога, и куры с легким разговором роются в навозе. Далеко над морем длинно тянутся пароходные дымы; как букашка, чернеет рыбацкая лодка с обвисшими парусами.

Лодка медленно ползет к берегу, где, как два пятнышка, белеют мазанки. На носу мерно, откидываясь и запрокидывая взмокшую от пота голову, с подергивающимся от напряжения лицом, гребет мальчик лет двенадцати, без шапки, с черными полопавшимися от загара ногами, с бронзовым телом, которое показывает разошедшаяся на груди ситцевая в горошинках рубашка, — гребет, напряжива-

ясь, как взрослый.

Ближе к мачте, с темными пятнами пота на прилипшей к спине рубаше, с выбившимися из-под сбившегося платка волосами, гребет баба, нестарая, с заострившимися чертами на разморенном, потном лице. Под соленым мокрым пологом зевает набросанная кучей рыба, а на носу темнеет быстро сохнущая наваленная груда сетей.

Баба оглянулась на тоненько белеющие пятнышки мазанок:

— Чего-сь-то гребешь, гребешь, а все столько же.

А мальчишка строгим басом:

— Будет тебе, мать, не оглядывайся. А то до вечера не дотянемся.

И снова две пары весел мерно сверкают, с них торопливо падают звонкие капли, и бурлит зелено-голубоватая вода, оставляя пенистый убегающий след.

**На море — тихий, отдыхающий покой.**

Море да слепящий блеск, да мерно откидывающиеся со взмокшими пылающими лица-



ми фигуры, да два белых пятнышка на смутной полоске берега.

Только когда постаревшее, красное, расплывшееся солнце, такое незлобивое и бессильное теперь, коснулось синеющего края воды, лодка с тяжелым хрустом глубоко врезалась носом в мокрый песок.

Выскочил мальчишка, вылезла баба, оправляя платок.

На берегу, говоря о проснувшейся жизни, курились синим пахучим дымком кизяки под навешенным котелком, в котором уже весело закипала вода. Бабка суетилась возле, старая, жилистая, длинношеяя, — все собирала для костра сухой камыш и осоку.

Целый выводок ребятишек ходил за ней, оставляя маленькие следы на белом песке, — тоже собирали. В одной мазанке голубые ставни были открыты, и глядели маленькие окна с поднятыми стеклами. Только другая стояла тихо и безжизненно с забитыми ставнями, с заколоченными дверями.

Ребятишки с визгом побежали, забрались в лодку и, чирикавая по-воробьиному, начали выбрасывать на песок все еще не уснувшую,

трепетно вскидывавшуюся рыбу.

Мальчишка цыкнул на них, достал из корзины кисет с табаком и стал загибать собачью ножку. Прежде мать вытянула бы его за это по спине веслом или кочергой, и, чтобы покурить, он забирался куда-нибудь в темный уголок, а теперь затягивался, длинно сплевывая, как отец. И, как это делал отец, предоставив усталой матери и детям лодку, пошел не спеша, вдавливая босые ноги в песок, — это после отца всегда оставались глубокие следы.

Солнце зашло.

На море — тихий, отдыхающий покой. Едва уловимые стекловидные морщины слабо всплывают на песок. Незаметно рождаются белые звезды, и из глубины на них смотрят такие же бледные и слабые.

Пахнет соленой водой, прелыми водорослями, а из степи сладко наплывает запах набора и приносит дремотную перепелиную дробь.

Все обсели котелок и вкусно таскают деревянными ложками уху, в которой белеет разварившаяся рыба.

Самый маленький, с выцветшими от зноя

в белый лен волосами, уже положил голову на колени бабки, да и у остальных слипаются глаза.

— Чебак пошел, — говорит толстым голосом мальчишка, — не сегодня-завтра сула и подсулок. Нонче табунок вытащили. Сети, вишь, не выварили. Ты чего же, бабка, смотришь?

— Куды же мне от детей... Утресь пошла в слободу картошки взять, ды староста говорит: «Разорять вас придем». Господи, и чего такое будет!..

Кряхтя и вздыхая, бабка подняла маленького и с усилием понесла на руках, а у него болталась свесившаяся головенка.

— Пущай явятся, — сказал мальчишка, собрав на переносице морщинку, и постучал, отряхивая, ложкой по краю котелка, — пущай. Я им покажу от ворот поворот... Я их потяну за зебра!..

— И чего такое будет, — всхлипнула бабка и утерла глаза уголком платка, — самого угна-ли, а тут еще разор... Пошли спать, идоло-вы! — закричала она сердито на детей.

Дети, поскребывая голову, потянулись к

мазанке, а Манька, старшая, взялась мыть котелок и ложки.

— И письма давно нету — може, и убили.

Баба всхлипнула.

Мальчик поднялся, посмотрел на золотые звезды, которые вылезали из-за смутного темного моря, и сказал, как обыкновенно говорил отец после ужина:

— Спать надоть.

Мать с детьми и бабка легли в мазанке на полу, чисто подметенном, затрушенном от блох горькой полынью. Мальчишка достал в сенцах топор и лег на берегу под лодкой, а топор возле себя положил.

«Если придут, старосте развалю голову...»

Не успел подумать, а староста тут как тут, да не один, а сотский, десятские, заседатель, понятые, бабы и девки, — эти поглазеть пришли.

Хотел вскочить Пахомка и развалить голову старосте, а топор — в десять пуд, рука к нему приросла, не шевельнется. А староста говорит:

— Лежишь? Ну, и лежи.

И стали они делать то, что два раза делали

на памяти Пахомки. И будто стоит отец, как и тогда стоял, и смотрит.

«И откуда отцу быть тут?» — думал Пахомка, и ему не странно, что тут отец.

И вдруг сладко потянуло набором со степи, донесло перепелиный: подь-подеп... подь-подеп... И влагой потянуло с моря. И нет ни старосты, ни заседателя, ни отца. Знает Пахомка — снилось все это, но, все заслоняя, как из легкого тумана, выступает опять староста, заседатель... А потом опять все пропало в черноте, заволочло крепким, молодым сном без сновидений.

Спят в мазанке бабы и дети, спит под лодкой Пахомка, а море не спит, смутно проступает берег, и все так же сладко пахнет из степи набором.

В степи так же тихо и спокойно, спит свобода, и смутно белеют по балке хаты.

Лет десять назад пришел сюда Василий, Пахомкин отец, с бабой, с матерью и с двухгодовалым Пахомкой, глянул вправо и влево по пустому берегу и стал с бабами класть из глины мазанку; вывели стены, печку, трубу, натаскали соломы, тряпья и стали жить. Васи-

лий пригнал лодку, привез сетей, крючьев и в ведро и в непогоду пропадал на море.

А когда приезжал, бабы вываливали рыбу, потрошили, распластывали, вялили, солили, либо приезжали на дрогах скупщики и увозили рыбу, оставляя на песке следы от колес.

Не было ни хозяйства, ни живности, ни пристроек, даже забора не было. Бабы не пекли хлебов, не возились с огородом, все добывали в слободе, — туда несли рыбу, а оттуда — печеный хлеб, вишню, капусту, молоко, когда и свежинку.

Слободские из поколения в поколение пахали, сеяли, знали только землю и не любили и боялись воды. К голодранцам, поселившимся на их земле, на берегу относились презрительно.

А однажды на берег пришел староста с мужиками. Мужики присели в тени мазанки, закурили, и староста сказал:

— Вот чего, Василий: сымайся и уходи.

— Как так?

— Так. Земля наша, а ты самовольно. Мы землю берегем.

— Брешете — бечевник по берегу казен-

ный. Ваша земля вон в степе.

Помолчали мужики, посидели, и староста сказал:

— Земля наша, а землю мы берегем. Сымайся со всем своим скарбом и уходи, куда знаешь.

А один мужик, поковыривая песок, сказал:

— Два ведра вина обществу поставишь — можно оставить на время.

Василий молча сложил тугой кукиш:

— На-кось!

Мужики пошли, и долго в степи покачивались их широкие, крепкие хлебобобовые спины. А через год в это же время приехал заседатель с рабочими, пришел староста, понятые, прочли Василию определение суда, вынесли все из мазанки и стали рушить. Выломали окна, двери, развалили стены, печи, трубу — и ушли, а над тем местом, где стояло пригретое жилье, лишь курево курилось.

Бабы сидели на большом красном, обитом жестью сундуке и голосили. В тряпье копошились ребяташки. Василий ходил по берегу, кричал на своих, дал бабе по затылку, потом спихнул на воду лодку и уехал смотреть сети.

Над сундуками, над тряпьем поставили из рогож шалаш и жили все лето. А когда пришли черные осенние ночи и глухо зашумело в темноте море, Василий подрядил в слободе тех же мужиков, что приходили, и их баб, ночью на подводах привезли материал, земляные с навозом кирпичи в человеческий обхват, сложили стены, сбили печку, вывели трубу, и к утру над новой серой мазанкой уютно курился синий дымок; только не вставленные еще окна и двери черно зияли.

Пришел староста с понятыми, составил протокол, дело пошло опять в суд, а ребятишки всю зиму ходили с раздутыми носами, чихали и кашляли. Летом стены просохли, бабы их побелили, и опять далеко, гостеприимно белым пятнышком глядела мазанка в море.

Приехал как-то на лодке новый рыбак с бабой и ребенком, поставил обок новую мазанку, стал рыбачить, а в море, маня уютом и покоем, глядели теперь две мазанки.

Через лето после судебной волокиты снова приехал заседатель с рабочими, пришел староста, понятые, развалили обе мазанки и ушли, а в черную осеннюю ночь они обе

опять выросли у самой воды на божьей земле, и опять рыбаки в погоду и непогодь ходили в море, а бабы возились с рыбой.

Так было до трех раз.

В последний раз снова пришел староста и сказал:

— Може, добром уйдешь?

И опять к его широким, как ворота, ноздрям, откуда лезла шерсть, протянулся тугой, просмоленный, обветренный кукиш.

Снова начали дело, да война приостановила. Василий собрался, баба выла, как по мертвому, ребяташки захлебывались. Пахомка, моргая, глотал слезы. У дверей, загрузась колесами в песок, стояли дроги, и парень, дожидаясь, скучно похлопывал кнутом по пыльным сапогам.

— Слухайся матерю, теперя тебе справлять всю работу, всю страду.

По обветренному, продубленному лицу ползли слезы, — никогда не видал этого Пахомка и захлюпал носом.

С тех пор Пахомка за хозяина на берегу, — ходит в море, спускает, подымает сети, ставит крючья, а мать помогает, как прежде он сам

помогал отцу.

Пахомка как будто раздался в плечах, голос окреп, стал хриплее, как у отца. Прежде, бывало, мать в сердцах огреет его кочергой либо коромыслом, а теперь он кричит на нее:

— Вон, глянь на суседев. То-то!

Сосед тоже ушел на войну, а баба взяла девчонку за руку и пошла в наймитки. Мазанку заколотили.

И мать и бабка давно встали, возились по хозяйству. Когда солнце из засветившейся степи тронуло верхи верб, мать разбудила крепко спавшего Пахомку.

Недовольно вскинулся Пахомка, — отец, бывало, сам всех будил. Закричал на ребятишек, что вылеживаютя, и принялся за выварку сетей. Потом конопатил лодку, потом приезжали скупщики, и он с ними резонился. А вечером положили в лодку хлеба, бочонок с водой, навалили на носу сухих сетей и пошли в море на ночь.

Было тихо и душно. Даже песок вода не лизала, а море и степь тонули в сухой сероватой мгле, как после пожарища.

Пахомка, откидываясь, работал веслами.

Пот градом катился по воспаленному лицу, и белые мазанки, всегда долго белевшие, когда уходили в море, сразу затянулись.

Когда медно-красное огромное солнце, сделавшись коричневым, опустилось не в воду, а во мглу, Пахомка, странно озираясь, сказал:

— Матка, ай на берег воротиться?

А мать, беспомощно опустив весла, тоже с распаренным лицом, еле раскрыв рот, сказала нерешительно:

— Как же быть-то: завтра скупщики к вечеру будут.

Снова весла стали глухо бурлить, толчками подвигая лодку.

Своего места, где плавали обрубки на якорях, не нашли и стали сыпать сети, где застала наступающая ночь.

Пахомка беспокойно, торопливо, то и дело срываясь, сыпал за борт сети и все понукал мать, которая, надрываясь, с растрепавшимися косами, гнала тяжело волочившуюся лодку.

Вдруг стало легче дышать, и бесконечно заблистали в воде звезды. А через секунду они задрожали, запрыгали в бесчисленных

морщинах, и в снастях зашумело; у бабы затрепыхались концы платочка, а у Пахомки вздуло на спине рубаху. Потом опять бездонно во все стороны играли звезды.

Пахомка рвался, выкидывая сеть.

— Скорей, сынок, скорей!..

Шлепнул тяжелый якорный камень и обрубок. Пахомка схватился за весла, и от лодки, расходясь торопливо, побежали в обе стороны два жгута, уродуя и вытягивая попадающие в них звезды.

Да, видно, поздно было: зашумело, загудело кругом, все до одной звезды в море пропали, а через минуту стало качать и хлестать через борт.

Пена во тьме смутно неслась, обдавая обоих. Стал было ставить Пахомка парус, мигом долетели бы, да не справился, — рвануло, выдернуло шкот из рук, и забилося, свистя и хлопая, огромное полотно. Лодку накренило, и она глубоко черпнула.

Когда ходил с отцом в бурю, в ветер, Пахомка ни о чем не думал, иногда спал, свернувшись калачиком под банкой, даже во сне чувствуя бронзового, как отлитого, человека,

на корме отвалившегося на руль и державшего в железной руке дрожащий, как струна, шкот.

Пахомка, чувствуя себя маленьким, полез, кидаемый в лодке, к матери и закричал тоненьким, без хрипоты, голосом:

— Ма-атка-а!..

А мать металась, хватаясь то за руль, то за весла, и на секунду облепил лицо Пахомке сорванный с ее головы платок.

Тогда Пахомка, вцепившись в борт, чувствуя, что в одном только спасение — в том, чтобы на корме, навалившись на руль, тяжело сидел темно-дубленый человек, — глотая соленую воду и не справляясь с выворачивавшей рвотой, закричал детским заячьим голосом:

— Ба-атя! Ба-атя!

Во тьме, смутно белея, крутилась и неслась пена, с визгом рвался в снастях ветер.

# ОЦЕНЕННАЯ ГОЛОВА

I

— Так едешь?  
— Еду.

Они курили, в промежутках прихлебывая густой застывший чай. Лампа из-под абажура низко и желто освещала разбросанные газеты, рукописи, книги, перевесившиеся через стул штаны, а выше абажура ровная пепельная тень поглощала незатейливую обстановку полустуденческой комнаты.

Молчал потухший самовар.

— Тебя всюду ищут.

— Знаю.

— Твоя голова оценена.

— Знаю.

Хозяин с рыжей бородкой, в синей суконной, без пояса, рубахе, прошелся из угла в угол, сильно затягиваясь. Подошел к столу и ткнул в зашуршавший листок:

— «...Из достоверных источников мы получили сведение, что за поимку товарища Богу-

на правительство назначило три тысячи рублей...»

Гость усмехнулся и погладил небольшую, но густую и окладистую черную бороду:

— Дешево... Я думал, дороже стою.

Ничего не было замечательного в этой трехтысячерублевой фигуре, но все в нем было удивительно пропорционально. Грудь, плечи, руки, ноги — все было в меру, все было полно живой, упругой, сдержанно сквозившей в каждом движении силой. Лицо некрасивое; но злое добродушие, державшееся постоянной улыбкой в углах глаз, смягчало его.

— На юге снова провалы, — заговорил он деловым тоном, как бы желая сказать, что разговор на прежнюю тему исчерпан, — одного не понимаю, зачем эта кислятина, эти студни лезут в дело?.. Для того, чтоб фигурировать в статистике арестов?

— Милый мой, точно высчитано: средняя продолжительность работы — два месяца.

Богун быстро, упруго поднялся.

— А я тебе говорю, а я тебе говорю, — смягчавшая его лицо постоянная скептическая улыбка в углах глаз пропала, и жестокостью,

холодной и непреклонной, веяло от этих резко определенных черт, — я тебе говорю: «Через шесть месяцев правительство назначит за мою голову шесть тысяч».

Хозяин покачал головой. В соседней комнате укачивали ребенка, и мерно и неясно доносилось: «Аа-аа-аа»... и поскрипывали кольца колыбели. Не отводя глаз, черно глядела темнота в стекла.

Богун ходил, заложив руки за спину, и думал...

— Наконец, если ты так скучаешь по семье, — проговорил хозяин, вертя над лампой потухшую папиросу, — так лучше выписать ее в какое-нибудь укромное место, куда и ты приедешь и поживешь. Ведь уж за твоей квартирой неослабно следят.

— То-то, что не скучаю, — усмехнулся Богун, продолжая ходить, — я уехал от них два года назад... Девочку я оставил крохотной, ей было около трех лет... я даже себе не представляю, что она теперь такое, ну... Нашему брату насчет семейной жизни... не до того... некогда, брат...

Помолчали. Всё поскрипывали кольца, и

мерно, как маятник, усыпляюще доносилось: «Аа-аа-аа»...

## II

Богун всегда спал крепким, глубоким и в то же время чутким в одном направлении сном, каким спят моряки. Грохот и шум, стоявшие кругом, его нисколько не беспокоили и не нарушали безмятежности сна, но присутствие нового человека, хотя бы он сидел тихо, не шевелясь, пробегало моментально, как электрическая искра.

И сейчас Богун вдруг почувствовал знакомое беспокойство, и первое, что он ощутил, среди гула и тряски вагона, это — присутствие человека, которого раньше тут не было. Сквозь слегка приоткрытые ресницы, при začínющемся утре, он увидел большие красные руки на коленях, огромное тело, большое, лошадиное лицо и внимательные бесцветно-водяные глаза. Из-под белобрысых бровей они неподвижно глядели на Богуна, не моргая голыми, без ресниц, веками. И было в этом внимательном взгляде водяных глаз что-то холодное и непредотвратимое.

Богун, медленно пожевывая, открыл глаза, как бы не замечая визави. И сейчас же голые, без ресниц, веки сомкнулись под белобрысыми бровями, и большое тело колыхалось от тряски на скамье сонно и лениво.

«А-а, голубчик!»

Богун почесал переносицу, как бы соображая, спать ему еще или довольно, глянул на мелькающую в окне сырую, осеннюю черную землю и оглядел вагон: все так же в пыльном табачном дыму покачивались все те же фигуры пассажиров.

Богун бегло взглянул на *него*: все та же покачивающаяся массивная фигура, огромные руки на коленях и неподвижно затянутые облезлыми веками глаза. Но и сквозь веки, казалось, он глядел все тем же внимательным, бесцветным, водяным взглядом.

Богун захотел проверить: прислонился в угол и, чувствуя тряску вагонной стенки, закрыл глаза, осторожно глядя сквозь ресницы. И тогда тихонько поднялись голые веки, и бесцветные, водяные глаза снова, не моргая, неподвижно глядели на него, упорно, внимательно, разглядывая каждую линию, каждую

черту лица.

«Да, это — он... сомнений нет», — думал Богун, и ощущение злой усмешки проползло у него в душе. И тогда Богун смело и прямо глянул в глаза. Тот было закрыл, но сейчас же поднял веки и тоже глянул прямо и упорно, — нечего было скрывать, они поняли друг друга. Так с секунду глядели друг на друга два человека, потом спокойно перевели глаза и стали смотреть в окно на убегающую влажную землю, постоянно чувствуя друг друга, постоянно чувствуя завязавшийся узел жизни и смерти.

«Сколько нужно наблюдательности, сметки, характера, сколько потрачено выдержки, нервного напряжения, — думал Богун, — чтоб среди ежеминутно меняющегося людского моря открыть затерянную песчинку. И теперь этот, с водяными глазами, огромный, массивный, спокойно везет жертву, зная, что некуда деться, не ускользнуть, не вырваться из огромных красных рук».

И нет у него злобы, нет у него ненависти к преследуемому и открытому им человеку. Быть может, в глубине души он думает, —

прав человек, которого он ни за что теперь не выпустит из рук, которого предает на виселицу. Только особенное чувство озлобленной любви, так знакомое охотнику, к не дающемуся в руки, ускользающему и манящему зверю наполняло его.

Настоящая жгучая ненависть загоралась в этих водяных глазах, когда вставала личная опасность, когда преследуемый оборачивался, оскаливал зубы и мог укусить. Но были страшной силы огромные красные руки, в боковом кармане топорщился револьвер, и всегда бросятся на помощь все эти мирно разговаривающие о женитьбе, о чайниках, о дороге люди.

Богун опустил глаза. Он почувствовал спокойствие, холодное и жесткое, и такую же холодную, спокойную решимость. Кончится перегон, войдут жандармы, и бесполезна будет самая мысль о сопротивлении. Перевел глаза на сидящие на скамьях, покачивающиеся среди вагонного гула и говора в пыльном дыму фигуры. В простоте душевной, эти картузники, эти мужички с изборожденными лицами, черные от черной земли, будут помогать вя-

зять жандармам и человеку с водяными глазами.

А в окне все летела назад сырая осенней сыростью земля, и воронье над ней, и низкое бегущее серое небо. И два человека сидели друг против друга, и каждый делал неизбежное для него.

### III

Богун поднялся и пошел из вагона. В дверях *Бог*глянулся. *Тот* тоже поднялся и пошел за ним.

Богун вышел в коридорчик. Тут стояло несколько человек. Рассказывали анекдоты, и сквозь гул поезда раздавались взрывы хохота. Богун быстро перешел через двигавшиеся, качавшиеся между вагонами чугунные площадки, из-под которых бешено рвался с удесятенной силой грохот мчавшегося поезда, и быстро, чтоб разгорячить *того*, пошел по душному, переполненному сизым дымом другому вагону, цепляя торчавшие отовсюду узлы и чемоданы. *Тот* следовал по пятам.

Так они прошли два вагона, и Богун перебрался в коридорчик третьего, присев за от-

крытой с площадки дверью.

Никого не было. Показался *тот*. Он быстро глянул наверх, опасаясь, чтоб преследуемый не взобрался на крышу, и торопливо и осторожно перебрался между вагонами. В ту же секунду что-то со страшной силой толкнуло его. Богун, упершись в стенку коридорчика, изо всех сил хлопнул дверью и почувствовал, как под его напряженными руками тяжелая дубовая, окованная железом дверь глухо и массивно плюхнула во что-то мягкое. На секунду взмахнули в воздухе красные руки, и потом сквозь стекла, покачиваясь, ходила из стороны в сторону только зеленая стенка противоположного вагона.

...Богун вошел в коридорчик и отер капли холодного пота со лба. Постоял. Никого не было. Прошел в свой вагон, сел и долго глядел на уносящуюся сырую, черную, немую землю, с вьющимся над ней вороньем и низко бежавшим серым небом, — и против него была пустая скамейка.

На скрещении пересел в другой поезд и снова потерялся, как иголка, среди миллиона людей.

Комната была небольшая, но в ней было светло и уютно, а на дворе из темноты кто-то кланялся, заглядывал и стучал голыми, прилипавшими к стеклам ветвям, и в трубе возились, слышался непонятный разговор, чудилось пение без слов, без мотива.

Как засветившаяся искорка, среди темных звуков прозвенел тоненький голосок:

— Мама, кто в трубе разговаривает, он — живой?

— Нет, дружок, это — ветер.

Девочка лет четырех сидела в кроватке и пересматривала тысячу раз пересмотренные картинки в книжке. На стене темная тень мерно взмахивала черной рукой, и казалось, ее плоские движения по стене имели загадочное отношение ко всем спутанным, неясным, разбросанным в доме звукам осенней ночи.

— Мамочка, ты сегодня не будешь плакать?

— Нет, дружочек.

Кто-то плакал, стучал и просился в окна, в стены, в двери, у кого-то не было счастья и

ласки, или ему не нужно их было, и он смеялся, издеваясь над теплом, уютom, над светлой комнатой, над тоненьким голоском ребенка,

— Мама, отчего козерог — козерог?

— Так называли, детка.

— Смешной козерог.

Тень перестала двигаться, черная рука слилась с общим контуром, и было неподвижно, задумчиво, точно тонкий налет грусти подергивал предметы. Молодая женщина сидела неподвижно, как и тень на стене, неподвижно лежало на коленях шитье, не поблескивала игла. Бледное лицо говорило застывшим выражением: «Что бы я ни делала, куда бы ни шла, как бы ни были сухи глаза, — слезы, слезы всегда стоят в горле... Дни уходят, молодость уходит, жизнь уходит...»

А за окном снова кто-то кланяется, заглядывает и шуршит мокрыми ветвями, кто-то плачет, кто-то стонет, не то смеется и издевается. И по-прежнему в этом черном мраке ведется свой собственный особенный разговор, в котором нет человеческого смысла. И среди мертвых мятущихся ночных звуков раздался живой человеческий звук, точно кто стукнул

ПОД ОКНОМ.

— Ай!..

В комнате все заполнилось чутким напряжением внимания. Девочка глядела широко раскрытыми глазами.

— Мама, это — он?

— Да нет, моя крошка... не выдумывай, моя птичка.

— У него белые зубы, лохматые ноги...

— Будет, будет... рассматривай свои картинки.

— Он разговаривает в трубе и стучит в окна...

— Да это ветер веткой. Успокойся, дружок.

— Мама, у волка, который съел Красную Шапочку, длинные зубы?

Снова тень на стене, наклонившись, плоско взмахивает черной рукой, тянется вечер, бродят по дому смятенные ночные звуки.

Стук, стук!

Да, ясно, кто-то стучит. Как жутко вдвоем с ребенком! Девочка торопливо слезает с кровати босыми ножками на пол.

— Кто там?.. Ах, боже мой, Киса, разве мож-

но на холодный пол, — торопливо берет девочку на руки, — у тебя и без того головка горячая... Но кто там?.. Что вам нужно?.. Что?.. не разберу... что?.. Но я ведь не знаю, что вы за человек... Нет, не узнаю голоса, приходите днем...

Но там настойчивы, — стучат под окном, стучат у дверей, и этот живой стук в тысячу раз страшнее мертвых звуков ночи. Слышны шаги от дверей к окну, и к черному стеклу приникает белое пятно лица с темными пятнами глаз.

Девочка в ужасе охватывает мать за шею ручонками и прячет личико. Женщина вскрикивает, отрывает от себя ребенка, сажает в постельку и через минуту с плачем, с судорожным смехом, с рыданием обнимает человека с черной окладистой бородой.

— Нет, ты не мой папа.  
— А кто же я?

Девочка деловито смотрит на мать, потом в черное окно.

— У того, который в трубе разговаривает, ноги лохматые, а ты ведь добрей его?

Ее глазки светятся лукавством. Они сидят вдвоем, — мать хлопочет с чаем, — но девочка держит своего гостя на почтительном расстоянии.

— Но ведь и мама говорит, что я — твой папа.

— Подожди, не спеши, — раздумчиво заявляет маленькая женщина, нахмуривая крохотные бровки, — мама мне рассказывала, какой мой папа.

— Какой же?

— Он большо-ой, большой... с нашу крышу, и сильный, такой сильный, такой сильный, льва поборет, у него нога с мамину кровать, а глаз... — девочка поискала глазками по стене, — с окно...

Человек с черной бородой смеется.

— Ты знаешь козерога?

— Я знаю не только козерога, но и мою милую крошку, мою дочурку, которая будет любить своего папу.

Та качает головкой.

— Когда мама мне рассказывала про моего папу, всегда плакала, а теперь смеется... Нет, ты — не мой папа.

Но на другой день они были друзьями. Она сидела на кровати со своими игрушками и книжками, а он в простенке между окнами, плотно прислонившись к стене, совсем избегая ходить по комнате, чтоб не было видно со двора, и держал крохотную тепленькую ручку в своей сильной руке. Они говорили о самых разнообразных вещах и выясняли друг другу свое мирозерцание.

— Знаешь, меня начинает ревность глотать, — говорила молодая женщина, оторвавшись на минуту от хозяйских хлопот и смеясь счастливым смехом, — то тебя революция отнимает у меня, а теперь дочка забрала. Павлуша, милый, надень, тебе будет очень удобно... это я папаше вышивала к именинам, все равно, надень.

Богун просунул руки в рукава и запахнул мягкие теплые полы расшитого халата. Жена любовно завязала концы шнура с болтающимися кистями.

— Вот то раз!.. — проговорил Богун, оглядывая себя, — не уютно ли!.. Недостает ермолки с кисточкой. От вис... — но вовремя прикусил язык.

«От виселицы до халата — один шаг», — мелькнуло у него.

Начались странные дни, странные дни тайного семейного счастья, скрытого от людских глаз. Когда просыпались, уже день загорался звенящим детским голоском, искрился милый смех, и наполнял комнату детский лепет, наивный и полный своеобразного и неожиданного для взрослых смысла.

Пили чай с коврижками, говорили, беспричинно смеялись, играли в лото, рассказывали длинные сказки, чудесные истории. И чудилась ленивая река, желтеющие пески, дремлющий лес, и опрокинутые в дремлющей воде белые облака, и истома, и зной сонного летнего дня. Как будто не нужно было усилий, как будто не было резких звуков, кра-

сок, как будто дремотно клонился весь мир, и кругом было тихо, спокойно и легко.

## VI

Как-то вечером Богун сбросил халат, надел свой пиджак, шляпу.

— Я иду.

Женщина затрепетала.

— Куда?

— В комитет... Нет ли чего, кстати поручения дать на юг.

Она обвила его, спрятала голову на груди, неудержимо рыдая.

— Я знаю... я... знаю... тебя... у... меня... отнимут!..

Он гладил ее голову, но глаза смотрели жестко и холодно, и она знала: никакими силами нельзя было его удержать. Он ушел и поздно ночью вернулся. На другой день опять ушел и стал уходить каждый день и возвращаться ночью.

Стали и к нему приходить.

Все это был молодой народ, плохо одетый, с худыми лицами и беспокойно горевшими глазами.

Целыми часами, понизив голос, говорили о делах, о выступлениях партии, расшифровывали и зашифровывали письма.

Ребенок внимательно вглядывался в этих людей, надевал маленькие туфельки, тихонько слезал с кроватки и, забрав все свое имущество, карабкался к отцу. Тот брал к себе на колени, и по суровым чертам проходило выражение внутренней мягкости и ласки, так не вязавшееся с этими чертами и так неожиданно присущее им.

А голос его все так же деловито звучал:

— Так говорите, есть народ, а денег не хватает? Да ведь в местном комитете у них же есть средства. Наконец можно снестись с центральным...

— Папочка, если нет денег, я своего козерога могу подарить. Вот.

Все смеются, а она смотрит на них не по-детски внимательными глазками, и черточка напряжения и мысли хмурит ее лобик. Что в отце теперь что-то новое и не весь он принадлежит ей, это она отчетливо понимает. И ей опять хочется забрать своего папу.

В окна по-прежнему черно смотрит ночь,

но она давно перестала быть живой. Уже никто там не кланяется, не плачет, не стучит, не заглядывает, а если и стучит, так это просто мокрые ветви о холодное стекло. Никто не воет и не разговаривает в трубе, а если и воет и воеет, так это просто ветер. Зато целое море новых понятий хлынуло в ее маленькую головку, и она хлопотливо их сортирует. И она хочет опять забрать себе своего папу, обвивает его шею и целует:

— Я тебя крепко, крепко люблю, папочка.

И, бессознательно ища слабого места в его сердце, говорит:

— А мама опять стала плакать.

А они ласково гладят ее головку, и их суровые речи о делах, спаянных с жизнью и смертью, перевиваются смехом, шуткою, и лаской, и маленькой сказочкой.

Отец прижимает к губам эту головку с мягкими льняными волосами, и странное ощущение нарастающего в этом теплом комочке сознания проникает его каким-то новым, незнакомым, не испытанным дотоле чувством.

— Ой!.. Какая твоя борода!.. Щекочет... От-

чего она такая черная? Ты ее красишь?

## VII

Как-то вечером в комнату ворвался запыхавшийся бледный человек и, с трудом переводя дыхание, крикнул:

— Дом оцепляют!..

Богун выпрямился, спокойный и холодный.

— Где?

— В Кривом переулке... возле фабрики... Скорее... иначе поздно!..

Женщина, захлебываясь, с безумными глазами, обнимая одной рукой и толкая другой к двери, шептала побелевшими губами:

— Павлуша... уходи... сию минуту... уезжай... не ворочайся больше, не медли... уходи... ради всего...

Он обнял жену, легонько отстранил и наклонился над девочкой. Та лежала, с блестящими глазами и горящим личиком, и сосредоточенно перебирала края простынки.

— Ну, девочка, прощай... будь здорова, весела, не забывай своего папу...

Он крепко поцеловал ее. Девочка, равно-

душно относившаяся ко всему, что происходило, занятая своей простынкой, вдруг обвинила отца и улыбнулась:

— Нет, ты мой.

— Скорее... уже в воротах...

— Павлуша, уходи...

— Уходите же!..

— Крошка моя... но ведь мне надо ехать далеко... мне очень надо ехать...

Она нахмурила бровки, как хмурил их Богун.

— Хорошо, папочка, только... — губки ее дрогнули, — приди ко мне еще разочек... мамочка ждала, плакала... теперь я буду ждать... буду пла... кать... буду... дол...го пла... кать...

Губки ее опять задрожали.

— Павлуша... Павлуша... ты погиб...

Женщина металась, ломая руки.

Богун взял девочку, посадил на колени, обнял и, чувствуя ее горячее тельце, потерявшееся в его сильных руках, стал говорить, удерживая трепетание голоса, сам но узнавая себя, сам удивляясь неиссякаемому источнику бывшей в нем нежности:

— Мой дружок... мой милый, мой ласко-

вый дружочек... моя крошка, моя ненаглядная... папа... придет... папа твой придет... папа твой во что бы то ни стало придет... будь покойна, моя ласточка, и жди своего папу... только будь здорова, у тебя что-то горячая головка...

— Двор наполнен людьми... теперь только через крышу сарая...

Еще раз поцеловал, положил в кроватку и бросился к двери.

Ворвалась орда, но нашла рыдавшую женщину и ребенка.

## VIII

**И** он пришел.

Он пришел в глухую, темную, ветреную осеннюю ночь.

Ветер бился в воротах и крышах, бегал по улицам, по двору, рвал и путал клочками темноту, колебал пламя газовых рожков, заглядывал во все углы, где особенно густо лежала ночная темь.

Из-за забора фонарь, колеблясь и моргая желтым глазом, то смеясь, то хмуро заглядывал во двор, и трепетные тени суетно и тороп-

ливо сновали по всему двору, беспокойно ища кого-то.

Было пусто, немо и неподвижно, хотя ночь была заполнена шумом, суетой и мельканием, и чудилось напряженное внимание враждебного и скрытого. Кто-то пытливо вслушивался и, не отрываясь, всматривался в темноту.

И ветер, не находя покоя, опять пустился на поиски, и, трепетно мелькая, засновали тени. Сторожко пробрался вдоль забора, где особенно подозрительно густели колеблющиеся деревья, и устремился к маленькому домику, тихо и уютно глядевшему освещенными окнами в глубине двора. И вместо того, чтобы петь в трубе скверным голосом и греметь листьями крыши, приник к окнам.

Должно быть, он увидел там неожиданное, потому что воровски, низом побежал назад, забрался в самую глушь и притаился. А вместо него к освещенным окнам прилипли десятки жадных глаз.

И тени перестали сновать по двору, и фонарь уже не заглядывал через забор, а горел ровно, спокойно и строго выполняя свое пря-

мое назначение освещать улицу, ибо теперь начиналось человеческое.

Глаза, жадно прилипшие к окнам, увидели небольшую комнату, освещенную лампой, кровать посредине. У кровати на коленях, уронив голову на руки, рыдала женщина. Возле стоял чернобородый мужчина. В кровати, разметавшись, спал ребенок.

С треском сорвались с петель двери, раздались выстрелы, крики, брань... Чернобородый мужчина моментально исчез, а в другой комнате зазвенели стекла. По двору тяжело затопотали, и опять крики, блеск, выстрелы, брань...

— Дьяволы!.. Да ведь это — Миколка!.. Сво- лочи, свово душеите, а энтог убёг!..

— Го-го... дяржи... дяржи... в угол!..

— Бей!!

Снова выстрелы, снова крики и брань, тяжелое сопение, хрип...

Ветер по-прежнему воровски таился. Только фонарь из-за забора искоса повел желтым глазом, и все тени, узкие и длинные, повело в угол, где тяжело и трудно ворочался черный клубок.

Клубок притих, развернулся, выпрямился и распался на отдельные фигуры. В темноте слышалось сморкание, смех, радостный говор.

— С благополучием!.. Опять, думал, убежёт... каждый день караулили... Ну и, сволочь, здоровый, чистый кабан... будет теперь помнить, проклятый... Слава те, господи, царица небесная, заработали ребятишкам на молочко... — И, сняв поблескивавшую бляхой в темноте фуражку, перекрестился.

# ДВЕ СМЕРТИ

**В** Московский Совет, в штаб, пришла сероглазая девушка в платочке.

Небо было октябрьское, грозное, и по холодным мокрым крышам, между труб, ползали юнкера и снимали винтовочными выстрелами неосторожных на Советской площади.

Девушка сказала:

— Я ничем не могу быть полезной революции. Я б хотела доставлять вам в штаб сведения о юнкерах. Сестрой я не умею, да сестер у вас много. Да и драться тоже — никогда не держала оружия. А вот, если дадите пропуск, я буду вам приносить сведения.

Товарищ, с маузером за поясом, в замасленной кожанке, с провалившимся от бессонных ночей и чахотки лицом, неотступно всматриваясь в нее, сказал:

— Обманете нас, расстреляем. Вы понимаете? Откроют там, вас расстреляют. Обманете нас, расстреляем здесь!

— Знаю.

— Да вы взвесили все?

Она поправила платочек на голове.

— Вы дайте мне пропуск во все посты и документ, что я — офицерская дочь.

Ее попросили в отдельную комнату, к дверям приставили часового.

За окнами на площади опять посыпались выстрелы — налетел юнкерский броневик, пострелял, укатил.

— А черт ее знает... Справки навел, да что справки, — говорил с провалившимся чахоточным лицом товарищ, — конечно, может подвести. Ну, да дадим. Много она о нас не сумеет там рассказать. А попадетя — пристукнем.

Ей выдали подложные документы, и она пошла на Арбат в Александровское училище, показывая на углах пропуск красноармейцам.

На Знаменке она красный пропуск спрятала. Ее окружили юнкера и отвели в училище в дежурную.

— Я хочу поработать сестрой. Мой отец убит в германскую войну, когда Самсонов отступал. А два брата на Дону в казачьих частях. Я тут с маленькой сестрой.

— Очень хорошо, прекрасно. Мы рады. В нашей тяжелой борьбе за великую Россию мы

рады искренней помощи всякого благородного патриота. А вы — дочь офицера. Пожалуйста!

Ее провели в гостиную. Принесли чай.

А дежурный офицер говорил стоящему перед ним юнкеру:

— Вот что, Степанов, оденьтесь рабочим. Прoberитесь на Покровку. Вот адрес. Узнайте подробно о девице, которая у нас сидит.

Степанов пошел, надел пальто с кровавой дырочкой на груди, — только что сняли с убитого рабочего. Надел его штаны, рваные сапоги, шапку и в сумерки отправился на Покровку.

***Девушку попросили в отдельную комнату, к дверям приставили часового.***

Там ему сказал какой-то рыжий лохматый гражданин, странно играя глазами:

— Да, живет во втором номере какая-то. С сестренкой маленькой. Буржуйка чертова.

— Где она сейчас?

— Да вот с утра нету. Арестовали, поди. Дочь штабс-капитана, это уж язва... А вам за-



чем она?

— Да тут ейная прислуга была из одной деревни с нами. Так повидать хотел. Прощай-те!

Ночью, вернувшись с постов, юнкера окружили сероглазую девушку живейшим вниманием. Достали пирожного, конфет. Один стал бойко играть на рояле; другой, склонив колени, смеясь, подал букет.

— Разнесем всю эту хамскую орду. Мы им хорошо насыпали. А завтра ночью ударим от Смоленского рынка так, только перья посыпятся.

Утром ее повели в лазарет на перевязки.

Когда проходили мимо белой стены, в глаза бросилось: у стены, в розовой ситцевой рубашке, с откинутой головой лежал рабочий — сапоги в грязи, подошвы протоптаны, над левым глазом темнела дырочка.

— Шпион! — бросил юнкер, проходя и не взглянув. — Поймали!

Девушка целый день работала в лазарете мягко и ловко, и раненые благодарно глядели в ее серые темно-запущенные глаза.

— Спасибо, сестрица.

На вторую ночь отпросилась домой.

— Да куда вы? Помилуйте, ведь опасно. Теперь за каждым углом караулят. Как из нашей зоны выйдете, сейчас вас схватят хамы, а то и подстрелят без разговору.

— Я им документы покажу, я — мирная. Я не могу. Там сестренка. Бог знает, что с ней. Душа изболелась...

— Ну да, маленькая сестра. Это, конечно, так. Но я вам дам двух юнкеров, проводят.

— Нет, нет, нет... — испуганно протянула руки, — я одна... я одна... Я ничего не боюсь.

Тот пристально посмотрел.

— Н-да... Ну, что ж!.. Идите.

«Розовая рубашка, над глазом темная дырка... голова откинута...»

Девушка вышла из ворот и сразу погрузилась в океан тьмы, — ни черточки, ни намечка, ни звука.

Она пошла наискось от училища через Арбатскую площадь к Арбатским воротам. С нею шел маленький круг тьмы, в котором она различала свою фигуру. Больше ничего — она одна на всем свете.

Не было страха. Только внутри все напря-

Галось.

В детстве, бывало, заберется к отцу, когда он уйдет, снимет с ковра над кроватью гитару, усядется с ногами и начинает потинькивать струною, и все подтягивает колышек, — и все тоньше, все выше струнная жалоба, все невыносимей. Тонкой, в сердце впивающейся судорогой — ти-ти-ти-и... Ай, лопнет, не выдержит... И мурашки бегут по спине, а на маленьком лбу бисеринки... И это доставляло потрясающее, ни с чем не сравнимое наслаждение.

Так шла в темноте, и не было страха, и все повышалось тоненько: ти-ти-ти-и... И смутно различала свою темную фигуру.

И вдруг протянула руку — стена дома. Ужас разлился расслабляющей истомой по всему телу, и бисеринками, как тогда, в детстве, выступил пот. Стена дома, а тут должна быть решетка бульвара. Значит, потерялась. Ну, что ж такое, — сейчас найдет направление. А зубы стучали неудержимой внутренней дрожью. Кто-то насмешливо наклонялся и шептал:

— Так ведь это ж начало конца... Не пони-

маешь?.. Ты думаешь, только заблудилась, а это нач...

Она нечеловеческим усилием распутывает: справа Знаменка, слева бульвар... Она, очевидно, взяла между ними. Протянула руки — столб. Телеграфный? С бьющимся сердцем опустилась на колени, пошарила по земле, пальцы ткнулись в холодное мокрое железо... Решетка, бульвар. Разом свалилась тяжесть. Она спокойно поднялась и... задрожала. Все шевелилось кругом — смутно, неясно, теряясь, снова возникая. Все шевелилось: и здания, и стены, и деревья. Трамвайные мачты, рельсы шевелились, кроваво-красные в кроваво-красной тьме. И тьма шевелилась мутно-красная. И тучи, низко свесившись, полыхали, кровавые.

Она шла туда, откуда лилось это молчаливое полыханье. Шла к Никитским воротам. Странно, почему ее до сих пор никто не окликнул, не остановил. В черноте ворот, подъездов, углов — знает — затаились дозоры, не спускают с нее глаз. Она вся на виду; идет, облитая красным полыханием, идет среди полыхающего.

Спокойно идет, зажимая в одной руке пропуск белых, в другой — красных. Кто окликнет, тому и покажет соответствующий пропуск. Кругом пусто, только без устали траурно-красное немое полыхание. На Никитской чудовищно бушевало. Разъяренные языки вонзались в багрово-низкие тучи, по которым бушевали клубы багрового дыма. Громадный дом насквозь светился раскаленным ослепительным светом. И в этом ослепительном раскалении всё, безумно дрожа, бешено несло в тучи; только, как черный скелет, неподвижно чернели балки, рельсы, стены. И все так же исступленно светились сквозные окна.

К тучам неслись искры хвостатой красной птицы, треск и непрерывный раскаленный шепот — шепот, который покрывал собою все кругом.

Девушка обернулась. Город тонул во мраке. Город с бесчисленными зданиями, колокольнями, площадями, скверами, театрами... — исчез. Стояла громада мрака.

И в этой необъятности — молчание, и в молчании — затаенность: вот-вот разразится, чему нет имени. Но стояло молчание, и в мол-

чании — ожидание. И девушке стало жутко.

Нестерпимо обдавало зноем. Она пошла наискось. И как только дошла до темного угла, выдвинулась приземистая фигура и на штыке заиграл отблеск.

— Куды?! Кто такая?

Она остановилась и поглядела. Забыла, в которой руке какой пропуск. Секунда колебания тянулась. Дуло поднялось в уровень груди.

Что ж это?! Хотела протянуть правую и неожиданно для себя протянула судорожно левую руку и разжала.

В ней лежал юнкерский пропуск.

Он отставил винтовку и неуклюже, неслушающимися пальцами стал расправлять. Она задрожала мелкой, никогда не испытанной дрожью. С треском позади вырвался из пожара сноп искр, судорожно осветив... На корявой ладони лежал юнкерский пропуск... кверху ногами...

«Уфф, т-ты... неграмотный!»

— На.

Она зажала проклятую бумажку.

— Куда идешь? — вдогонку ей.

— В штаб... в Совет.

— Переулками ступай, а то цокнут.

...В штабе ее встретили внимательно: сведения были очень ценные. Все приветливо заговаривали с ней, расспрашивали. В кожанке, с чахоточным лицом, ласково ей улыбался.

— Ну, молодец девка! Смотри только, не сорвись...

В сумерки, когда стрельба стала стихать, она опять пошла на Арбат. В лазарет всё подвозили и подвозили раненых из района. Атака юнкеров от Смоленского рынка была отбита; они понесли урон.

Целую ночь девушка с измученным, осунувшимся лицом перевязывала, поила, поправляла бинты, и раненые благодарно следили за ней глазами. На рассвете в лазарет ворвался юнкер, без шапки, в рабочем костюме, взъерошенный, с искаженным лицом.

Он подскочил к девушке:

— Вот... эта... потаскуха... продала..

Она отшатнулась, бледная как полотно, потом лицо залила смертельная краска, и она закричала:

— Вы... вы рабочих убиваете! Они рвутся

из страшной доли... У меня... я не умею оружием, вот я вас убивала...

Ее вывели к белой стене, и она послушно легла с двумя пулями в сердце на то место, где лежал рабочий в ситцевой рубашке. И пока не увезли ее, серые опухшие глаза непрерывно смотрели в октябрьское суровое и грозное небо.

# КАК МЫ ЧИТАЛИ КАРЛА МАРКСА

**Н**едаром и станица-то называлась Усть-Медведица: медведей много водилось в свое время, медвежий угол, непроходимая глушь, — ни железной дороги, ни парохода.

Старая седая река, а над рекой горы, а за рекой леса, а на горе станица. Жизнь в ней текла медленно, сонно и... страшно.

Нас душили в гимназии латинским, греческим, законом божиим, давили всем, лишь бы задушить живую душу. Всякую книжку по общественным наукам отнимали, а нас сажали в карцер. И были учителя нашими палачами.

Когда мы кончили и ехали в университет, мы наконец вздохнули от проклятой жизни. Хотелось знаний, свободы, хотелось общественной работы, — живые ростки все-таки остались в душе, даже палачи не сумели их убить.

Но в Питере оказалось еще хуже, — стояла удушливая тьма самодержавия и в обще-

ственной жизни и в университете.

Как это ни странно, мы были социалистами. Правда, наивными, невежественными; но постоянно кололо в душе жало, что нельзя жить, радоваться солнцу, деревьям, морской глади, человеческим голосам среди нечеловеческой нищеты, тьмы, нечеловеческих страданий народных.

А жить так хотелось!

Верилось в какое-то чудо: вдруг что-то случится, и все переменится, и придет счастье народное.

Иногда приходило отчаяние, и странной казалась эта наивная вера среди полицейщины, жандармов, шпионов, провокаторов, среди тюрем, ссылок, казней, каторги.

Сердце и глаза жадно искали, на что бы опереться.

Студенты и курсистки сбивались в кружки для самообразования. Попал и я в один такой кружок.

Я в первый раз услышал, что есть наука — политическая экономия, что весь строй жизненный в конечном счете определяется экономическим строением, что существует Карл

Маркс. Невежество тащилось за мной пудовыми гирями.

В кружке решили читать «Капитал» Карла Маркса.

Ну, Маркса так Маркса, — мне было все равно.

Один из старых студентов сказал:

— Что вы! Да разве можно начинать с Маркса, не имея ни малейшего представления о политической экономии? Ведь все равно ничего не поймете, только время убьете. Возьмите любой учебник политической экономии, вызубрите, — ну, тогда, пожалуй, и приступайте к Марксу.

Нас, молодежи, студентов и курсисток, собралось человек пятнадцать.

И начались муки.

И не то чтоб Маркс поразил с самого начала сложностью построений и труднодоступностью. Нет, напротив, в первой главе он сбивал как раз тем, что говорил и растолковывал до смешного очевидные вещи.

«Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая по своим свойствам способна удовлетворить какую-нибудь челове-

скую потребность...»

Ну, так что ж? Это я отлично понимаю.

«20 арш. холста — 1 сюртуку, или 20 арш. холста стоят одного сюртука».

И это великолепно понимаю.

Так в чем же дело?

А в том, что каждое слово в отдельности отлично понималось. Слова складывались в фразы — и это понималось. Но когда надо было фразы сцепить вместе в одно целое, все разваливалось, и мы, ничего не понимая, сидели опять у разбитого корыта и мучительно начинали сызнова.

По вечерам чтение продолжалось по пять, по шесть часов, а успевали прочесть полстраницы, а то и того меньше. А когда на другой день приходили — и это разваливалось, и прочитанное опять читали, как новое.

Мне было особенно тяжело — нападала необыкновенная сонливость. Вот сидишь, напряженно слушаешь, во все глаза ловишь движения губ чтеца, и вдруг веки начинают наливаться, лицо читающего товарища длиннеет, длиннеет, делается журавлиным, да и сам он уже не Макарыч, а шпиг на Петропав-

ловской крепости, качается, качается, да как вдруг...

И я неожиданно качнусь на стуле... Да спохватишься, испуганно разинешь глаза и исподтишка оглядишь всех подозрительно — не заметили ли?

И опять напряженно слушаешь, напряженно ловишь слова, и опять наливаются веки, и опять журавли... Всплывает, как был на охоте... Зайцы на задних лапах развесили уши, ухмыляются... И качнешься. Вот мука-то!

Не то Карла Маркса читаешь, не то с журавлями, зайцами сражаешься.

Так тянулось. И если в голове что-нибудь оставалось, так потому, что одно и то же место перечитывали раз по тридцать.

Понемногу слушатели отпадали, переставали ходить, и нас осталось человек шесть.

Мы не могли уйти: железными зубьями нас захватывал и втягивал в изложение Маркс, и уже нельзя было вырваться.

Что же он говорил?

А говорил, что новые ценности создаются только трудом.

Как вы ни хитрите, говорит буржуазным экономистам Маркс, капитал не создает никаких новых ценностей, он только повышает производительность труда. И только труд, живой труд служит мерилom стоимости вещей.

Так, строка за строкой, страница за страницей, Маркс громит буржуазную науку и на развалинах строит колоссальное свое здание.

Мы подвигались. Пропала сонливость. Точно из болота мы вылезали на твердую, неизблемую почву, и кругом стало светлее.

Прежде мы просто сердцем болели за страшную жизнь трудового народа. Теперь мы понимали, какой бы благородный, какой бы честный, отзывчивый человек ни был фабрикант, — а такие есть, — сколько бы он ни строил для рабочих больниц, библиотек, домов, все равно он — хищник, ибо все это делает на прибавочную стоимость, на отнятую у рабочего часть труда.

И мы впервые не только поняли, но и почувствовали классовую непримиримость.

Заставив нас мучительно преодолеть первые трудности, Маркс дальше разворачивал-

ся неотразимо увлекательно, как роман.

Как гениальный художник, он рисовал колоссальные, потрясающие картины рабочей жизни в Англии, картины первоначального накопления и железный ход вещей, который неумолимо ведет теперешний капиталистический строй к социалистическому.

И среди мрака царского и буржуазного владычества для нас загорелся вдали ослепительный яркий огонь надвигающегося, и кругом посветлело: явился смысл жить, работать, бороться.

# В ГОСТЯХ У ЛЕНИНА

Я не раз слышал Владимира Ильича Ленина на съездах и конференциях. Меня всегда поражало, что по количеству времени Ленин говорил обычно меньше ораторов, выступавших и до и после него, но впечатление от его речей оставалось всегда колоссальным.

С глазу на глаз я разговаривал с Владимиром Ильичом только однажды. И мне хочется рассказать об этом единственном незабываемом дне, — дне, когда я был в гостях у Ленина.

Как-то под вечер в моей квартире раздался звонок, вошел человек и сказал:

— Товарищ Ленин прислал за вами машину.

Минут через пять я был в Кремле. Молодой красноармеец провел меня в верхний этаж, где была расположена квартира Ильича. Очтившись в маленькой полутемной передней, я стал раздеваться и тут же услышал быстрые и легкие шаги: из внутренних комнат вышел Ленин. Он разом окинул меня взглядом с ног до головы и, горячо пожимая руку, приветливо сказал:

— Ну-с, пойдёмте, пойдёмте...

Мы вошли в столовую. Это была тесная, но удивительно опрятная и уютная комнатка, заставленная простой, довольно потертой мебелью. Мне случалось часто бывать в квартирах рабочих, обставленных значительно богаче. Видимо, в частной жизни, в быту Ильич строго придерживался принципа жить в тех же условиях, в которых живут сейчас трудящиеся массы.

— Как живете? С кем больше встречаетесь? С рабочими или с интеллигентами? Расскажите, — спросил Владимир Ильич, не спуская с меня глаз, как будто боялся, что я убегу.

— Да понемногу и с теми и с другими...

Я был смущен: «Ну, что я буду рассказывать Ленину, — думалось мне, — ведь все, о чем я могу рассказать Ильичу, он давно уже знает, и едва ли это будет ему интересно».

Владимир Ильич чутко заметил мою растерянность и, чтобы дать мне время прийти в себя, попросил Надежду Константиновну:

— Ты бы нам чайку...

Я не мог представить себе другого челове-

ка, который, стоя высоко над людьми, был бы так чужд честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

В тот памятный вечер я увидел Ленина совсем иным, не похожим на вождя и трибуна, каким встречал его ранее на съездах и конференциях. Передо мной явился новый Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым неутомимым интересом ко всему миру, удивительно мягко и любовно относящийся к людям.

— Пишете что-нибудь? — спросил он.

— Трудно сейчас писать: очень много организационной работы.

Ильич нахмурился.

— Да, организационной работы у нас сейчас в стране много. А вам, писателям, необходимо привлечь в литературу рабочих. На это надо направить все усилия. Каждому маленькому рассказу рабочего надо сердечно радоваться. У вас в журнале рабочие помещают свои вещи?

— Маловато, Владимир Ильич, видимо, знаний, культуры не хватает.

Он поглядел на меня смеющимися прищу-

ренными глазами.

— Ну, это ничего, научатся писать, и будет у нас превосходная, первая в мире пролетарская литература...

Была в этих словах яркая вера в человека, в русское искусство, неугасимая действенная вера и любовь к рабочему народу.

На столе появился самовар: он был помят и выглядел поношенным; стаканы, чашки, блюда — все было сборное, а угощение отличалось удивительной скромностью.

Неприхотливый, занятый с утра до ночи сложной тяжелой работой, Владимир Ильич совершенно забывал о себе. И сейчас, сидя за столом Ильича, мне казалось, что мы «чаевничаем» где-то в глухой деревне, пьем, обжигаясь, горячий, из бурлящего самовара, чай, осторожно и экономно покусывая сахар.

Улыбаясь, глядя прищуренными глазами, Ленин все ждал от меня рассказа.

«Да ведь надо, — думал я, — рассказать Владимиру Ильичу о рабочих; ведь затем он и пригласил меня, чтобы заглянуть в тот мир, от которого он порой бывает отодвинут своей колоссальной работой».

— Недавно я был на станции Лосиный Остров, — собравшись с духом, начал я, — там находится крупный арсенал, и в нем работает более тысячи рабочих.

Владимир Ильич придвинулся и наклонился ко мне, ласковый и внимательный. С поразительной, присущей ему живостью, ясностью и интересом он стал подробно расспрашивать о жизни рабочих арсенала, об их зарплатке, о работе, о школах, об отдыхе. И по этим метким, острым вопросам я почувствовал в Ильиче какое-то особое чутье, глубокое органическое понимание того, что переживает в данную минуту рабочий класс. Речь Ленина была скупа словами, но обильна мыслями.

Чувствуя заинтересованность Ильича, я рассказал в тот вечер о том, как рабочие-арсенальцы задумали выстроить у себя клуб. Ни средств, ни стройматериалов у них не было. Райисполком не смог прийти на помощь. Тогда на специальном собрании арсенальцы решили приспособить под клуб... конюшню.

Ленин внимательно слушал мой рассказ. С висков на углы век набегали морщинки, гла-

за засветились юмором и добродушием.

— Позвольте, это как же из конюшни клуб? — спросил Ильич, полный живого неутомимого интереса.

— В Лосином Острове жил прежде богатый помещик. Он держал первоклассных скаковых лошадей, а для этих лошадей была выстроена огромная конюшня. Вот рабочие, засучив рукава, принялись переделывать конюшню в театр: вычистили помещение, побелили, прорезали окна, настлали полы, возвели сцену, понаделали мебель, провели электричество, а когда все было закончено, — отправили в Москву делегацию за артистами. Артисты с радостью откликнулись на призыв. Весь поселок пришел на открытие нового театра. Это был чудесный праздник.

Ильич восторженно слушал, и глаза его сияли.

— Ну-ну, — поторапливал он мой рассказ.

Краткому, характерному «ну-ну» Ленин умел придавать бесконечную гамму оттенков — от осторожного сомнения, от едкой иронии до одобрительного поощрения, доступного человеку очень зоркому и понимающему.

цему все «превратности» судьбы.

— ...И вот рабочие своими силами из конюшни построили, так сказать, фешенебельное «дворянское собрание».

Глаза Владимира Ильича вспыхнули непо тухающе ярким светом. Он вскочил, корена стый и плотный, и, держась за лацканы пи джака, залился чудесным ленинским ребя чьим смехом. Никогда я не встречал челове ка, который умел бы так заразительно сме яться, как смеялся Владимир Ильич. Было да же странно, что суровый реалист, человек ве ликих исторических дел может смеяться по детски, до слез. А Ильич, захлебываясь сме хом и с трудом преодолевая его, проговорил:

— Только рабочий умеет построить из конюшни «дворянское собрание»; а то ли он еще построит — дайте срок...

Если бы я никогда прежде не слышал об Ильиче, не видал бы его, не знал бы, как отно сится Владимир Ильич к рабочему классу, — эти слова, а всего более задушевный отцов ско-ласковый смех открыли бы мне всю глу бину его любви, веры и гордости за созидате ля жизни, рабочего-творца.

Мысль Ленина, точно стрелка компаса, всегда обращена была в сторону классовых интересов трудового народа.

Стирая слезы смеха, уже серьезно, с большой силой, негромко Ленин сказал:

— Страшно дорого заплатили рабочие за свое право быть хозяевами жизни, но в конце концов выиграют они. Это — воля истории.

Надежда Константиновна прислушалась к шуму в коридоре и торопливо вышла. Вернувшись, она шепнула что-то Владимиру Ильичу.

Словно пеленой подернулось его лицо. Взор стал ровным, холодновато-насмешливым, а взгляд твердым и непреклонным. Это был уже не веселый собеседник, а вождь рабочего класса, гениальный полководец пролетарских сил.

— Вы меня простите, — сказал Ленин, — но сейчас получено известие, что белые выбили наши войска из Ростова. Я должен идти работать...

На этом наша беседа окончилась. Я откланялся, с трудом отрывая глаза от Владимира Ильича.

Через два дня было получено сообщение о том, что белые выброшены из Ростова, что Красная Армия гонит их к Новороссийску, а еще через несколько дней страна узнала, что полчища белых сброшены в море.

# С ВЫСОТЫ ВОСЬМИДЕСЯТИ ПЯТИ ЛЕТ

Скитаюсь, бывало, по горным кряжам. Идешь и идешь, поднимаешься все выше, выше, в гору. Перед глазами кусты, камни, змеистая тропа. Болят ноги, тревожно и напряженно бьется сердце; на лбу — испарина и набухшие жилы. Тяжел и труден подъем. Хочется сесть или лечь, а то и отказаться от подъема к манящей вершине. И вдруг оглянись и ахнешь: какой простор открывается с вершины! И радостно вздохнешь... И почему-то грустно, и рой неосознанных дум и образов волнует сердце.

Так вот и сейчас — с высоты своих восьмидесяти пяти лет, оглядываясь на ушедшие десятилетия, невольно хочется вскрикнуть:

— Друзья! А жизнь-то какая чудесная! Да как она вкусно пахнет!

...Шалит сердце; какие-то колесики и пружинки внутри поскрипывают; отяжелевшие ноги подгибаются и тянут прилечь и забыть-ся. А оглянись на пройденное, вдохнешь гу-

стой аромат нашей жизни, — и хочется опять продолжать подъем, преодолевать все препятствия, лишь бы еще... ну хотя бы вот до этой вершины подняться и там, оглянувшись, порадоваться голубым бескрайним просторам нашей жизни, ее многоцветной и ароматной радости...

Мне выпало большое счастье: я стою на пороге коммунизма. Коммунизм подходит в пламени войн, порою в голоде, в холоде, в смертных муках, медленно, но — непрерывно, неуклонно и неотразимо. Часто его не угадываешь. Но он, коммунизм, с несокрушимой силой мнет старые привычки жизни, старые отношения людей друг к другу, прокладывая новые пути.

...Прекрасна наша повседневная ожесточенная борьба, прекрасна наша жизнь, еще прекрасней будущее. И я безмерно счастлив, что из мрака прошлого, преодолев владычество трех царей, мне удалось хоть краешком глаза заглянуть в будущее нашей родины, наших людей. И хочу по-стариковски сказать молодежи напутственное слово:

— Жизнь пахнет упоительно! Жизнь на-

ша — необъятный голубой простор моря! Так украшайте эту жизнь еще более, еще более раздвигайте ее просторы!

Цена 33 коп.

3

Цена 33 коп.

А. СЕРАФИМОВИЧ · ЧЕРНЫЙ ТРЕУХ



**Внимание!**  
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных

**материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.**

**Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.**